

ДВЕ ПОВЕСТИ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

Здесь публикуются два текста, один из которых написан много лет тому назад и в манере, от которой автор давно отошёл, другой сочинён тоже довольно давно. Мысль написать повесть о сектантах (где, кажется, больше выдумки, чем действительности) подсказана некоторыми впечатлениями врача. Что же касается повести о лагере, то тут вспоминается фраза Толстого: «Солдат, раненный в бою, думает, что и вся кампания проиграна». Бывшему заключённому мнится, будто принудительный труд и существование за колючей проволокой – главное в нашем советском прошлом. (Многие узники были уверены, что в лагерях сидит чуть ли не всё население страны.) И всё же я думаю, что лагерь, как и война, – в самом деле центральное событие новейшей истории нашего отечества. Другое дело, что тема вышла сейчас из моды. В доме повешенного не говорят о верёвке.

Б. Хазанов

ЗАПАХ ЗВЁЗД

Поезд, идущий на северо-восток, замедлил ход, приближаясь к полустанку, а через минуту уже мелькал в остекленевших глазах вышедшего дежурного и гремел на переезде мимо стрелочницы, которая стояла, выставив перед животом скатанный грязно-желтый флажок. Оба, каждый со своего поста, глядели вслед уменьшающимся красным огням, глхнувшим в белой мгле. Здесь, на полустанке, их разделяла служебная дистанция, не менее реальная, чем расстояние между сторожкой возле шлагбаума, поднимавшегося раз пять-шесть в году, не чаще, и «вокзалом», где дежурный пил чай и слушал унылый стук ходиков; а для мелькнувшего мимо поезда это было все равно что расстояние в несколько миллиметров, и люди на полустанке были для него мгновенными ничтожными мелочами, которые машинист едва успел заметить, словно жикнувших перед глазами мух. Даже на больших станциях поезд, идущий на северо-восток, не задерживался, не стоял ни минуты, а постукивал равномерно на стыках в отдалении от перрона, мелькал там, сзади, в просветах между вагонами застрявших товарняков, и вот уже гудок его, протяжный и затихающий, тускнел вдаль, и дым расходился в небе; он шел подряд несколько суток, днем и ночью, и с тех пор, как начал свой путь, останавливался, кажется, только один раз, чтобы пополнить убывающие запасы угля и воды. И на разъездах поезд не стоял, не ждал, а шел и шел вперед. Сперва ехали через пустынные поля, словно плыли по широкой снежной реке, разлившейся до самого горизонта, и казалось, что поезд вовсе не движется, а стоит на месте, грохоча колесами; кромка леса на дальнем берегу тянулась, стояла перед глазами с рассвета и дотемна; но потом она стала расти, приближаться. Присмотревшись, можно было различить бегущие деревья, стук колес как будто усилился; хоровод деревьев, сцепившись ветвями, побежал назад, в обратную сторону, а позади него другой хоровод понесся вперед наперегонки с поездом. Он шел, загигаясь по узкой насыпи, и с обеих сторон стоял густой лес.

То был поистине целый мир – особенный, чудотворный: каким восторгом, какой нежностью могла бы наполниться душа при виде сих монашеских елей, толпой сходящих к оврагам, и золотистых сосен на пригорках по колено в снегу; дым клу-

бами окутывал их, но, когда он рассеялся, сосны стояли такие же, как прежде, — строгие, радостные, качая верхушками, и времени, казалось, вовсе для них не существовало: и татарская власть, и раскольники, и французы — все было для них одновременно, или, лучше сказать, никогда не было. В ясную погоду снег на опушке блестел так, что глазам было больно, и все-таки тянуло глядеть на него, и хотелось схватить его в охапку, зарыться в него лицом — такой он был свежий и чистый и дышал какой-то древней юностью. Тени сосен в ясный день были голубые и легкие, а к вечеру тяжелели и становились лиловыми; пунктиром пересекали их синие крестики чьих-то следов. В пасмурную же погоду небо над соснами было мутно-молочным, все кругом казалось теснее и ближе, и расплывчатей, и снег был не голубого, а белого цвета, как белье, которое забыли подсинить. В сумерках белое небо опускалось на снег, и сиреневая мгла все разбалтывала в сплошную кашу. Но понемногу мутная темень рассеивалась, ночь стекленела, становилась прозрачной, как будто протирали запотевшие черные окна, мороз крепчал, зеленое сияние поднималось над снегами. Вдруг из чащи раздавался крик птицы, не злой, не зловещий, просто от избытка сил, наливающихся во сне, снег сыпался неслышно с веток, что-то происходило, завершалось, кристалл ночи становился чище, ярче, совершеннее, высоко в пустом небе горели, переливаясь, звезды. Утром из пелены далеких туч, сопя и тараша заспанные глаза, выбиралось косматое солнце, и винно-розовая заря бежала по рельсам, а с другого конца, на темном, аспидно-сером западе, появлялся в разрубе тайги белый дымок, дальний гудок возникал как бы из небытия. Поезд мчался мимо всех лесных событий, ему не было до них никакого дела.

Поезд шел вперед; рельсы, как предначертания судьбы, указывали ему единственный путь — на северо-восток. Города, грязные станции, деревни — все осталось позади. За пустынными равнинами открывались другие, еще шире и пустыннее, за лесами начинались другие леса, гуще прежних. Огромная это была страна, огромная и прекрасная, несмотря на кажущуюся свою несуразность. И мнилось, не будет ей конца. Но мало-помалу, незаметно и неощутимо поезд, который сначала полз по белой равнине, как сороконожка по скатерти, а потом юркнул в тайгу, унося за собой белый дымок, приблизился к иным меридианам и в конце концов оказался совсем в другой стране. Он вполз в нее, и никто этого не заметил, да и не ждал, когда появится пограничный столб: не было никаких столбов, эта страна была совершенно такая же, как и та, оставшаяся, так что нельзя было понять, где она, собственно, начинается; разве случайно можно было наткнуться на нее, как на дредноут в игре «морской бой», ибо она была невидима; и все-таки это была совсем другая, особая и непохожая на нашу страна.

Поезд шел в страну, о которой, конечно, все знали, что она существует. Знали, но делали вид, что не подозревают о ней. Молчаливый заговор окружил тайной все, что имело отношение к этой стране, и не требовалось даже специальными постановлениями запрещать упоминать о ней. Ее не было — и точка. Поезд шел в страну, куда никогда и ни за какие деньги не продавали билетов, которая не была нанесена на карты, не упоминалась в справочниках и которую не проходили по географии в школе. Да и вряд ли кому-нибудь захотелось бы повидать ее по своей воле, а уж если кому было суждено туда ехать, тот назад из этой страны не возвращался, как не возвращаются никогда из Страны мертвых. И о ней старались не думать, забыть, как стараются не думать о кладбище, где лежит столько народа.

Всякий намек на нее был нестерпим, и мысль об этой стране леденила ужасом; появившись неведомо откуда, била под колени и хватала за горло, и тогда каждый был согласен сделать все, что ни потребуют, отдать добро, предать друзей, отречься от близких, лишь бы отвели от него этот перст. И все же догадывались, что живет там не горстка людей, не сотни и не тысячи, и даже не сто тысяч, а так много, что страшно было представить — все равно что собрать разом всех умерших

хотя бы только за десять лет. Но если мертвых покойников помнят или по крайней мере делают вид, что помнят, то этих никто не вспоминал, самая память о них представлялась как бы заразной: их забывали молниеносно, выскабливали из памяти их имена в ту самую минуту, когда эти люди исчезали, а если кто и помнил, то притворялся, будто забыл. И если бы вдруг случилось землетрясение или океанская волна внезапно поглотила нашу Атлантиду, то историки, собирая реликты некоего пропавшего народа, не узнали бы, что внутри древнего захлебнувшегося государства существовало еще одно, секретное.

Никто в точности не знал, что именно происходит в стране на северо-востоке. Никому не известно было, какая там погода, идет ли дождь, светит ли солнце и сколько там дней в году, да и считают ли там годы – никто не знал. Поезд особого назначения, следующий по секретному маршруту, шел, торопился из страны живых туда, минуя разъезды и пункты контроля, оставляя позади города, станции, проносясь с грохотом мимо безлюдных полустанков и закрытых шлагбаумов. Поезд шел вперед, и белый дым, отдуваемый ветром, стлался за ним и бесследно таял в холодном небе.

И только одно становилось мало-помалу понятным для того, кто еще осмеливался размышлять о тайной стране и ее обитателях: что труд, который был объявлен делом чести и доблести и который называли почетным долгом те, кто им никогда не занимался, труд, о котором рассказывали басни, будто он облагораживает человека, есть в действительности то, чем он и был всегда, – проклятье, которое подстерегает каждого, словно дурная болезнь. Что вся сложная система правосудия есть на самом деле машина для насильственного комплектования рабочей силы; что, одним словом, всегда нужен кто-то, кто вскакивал бы в пять часов утра и топал в лес в мороз и дождь и спиливал бы огромные деревья, обрубал сучья, кряжевал хлысты, наваливал, вез, тонул в снегу или в болоте, дубиной и криками подгонял выбившуюся из сил лошадь, сваливал, укатывал, воздвигал штабеля, грузил лесом составы или гнил бы заживо в шахтах, в котлованах, в подземных заводах, на урановых рудниках и мало ли еще где. Всегда нужно, чтобы кто-нибудь рыл землю, возил тачки, толкал вагонетки, своими ногтями выкапывал каналы и на своих костях прокладывал бы железные дороги; и если этого не делаешь ты, то, значит, за тебя должен делать другой, и выходит, что любое другое занятие, кроме «грубого физического труда», – попросту хитромудрая уловка, увиливание, дезертирство.

Не так уж много требовалось ума, чтобы понять это; а непонятливых учила жизнь. Потому что главный урок, который она преподносила, да так наглядно, словно конфетку на ладони, главный урок и наука – скажем это, забегая вперед, – была наука неверия, не какого-то отдельного неверия, а неверия вообще, и в ней-то и заключалась причина таинственности, которую была окружена жизнь в стране на северо-востоке: ибо, освобождая людей от бремени имущества, притащенного в мешках, деревянных сундучках или чемоданах, от теплых шинелей со споротыми погонами, от фасонистых городских пальто, уже подпорченных в тюремной дезкамере, от валенок, еще пахнувших домом и волей, от вязаных носков, последних в жизни, потому что скоро и самое слово это забывалось, исчезало из лексикона, как исчезали, став ненужными, сотни других слов, – короче, от всех шмоток и всего вообще, что у них еще оставалось и что частью выманивали у них обманом, частью отнимали силой, а чаще просто уворовывали и потом без конца проигрывали и выигрывали в карты, – освобождая от всего своего, кроме собственной многострадальной шкуры, своего тощего потроха, да еще казенной телогрейки, да трухлявых штанов, жизнь в лагере освобождала и еще от кое-чего, именно от веры, от веры, которая отныне становилась синонимом глупости. Урок жизни, начатый предательством друзей, соседей, однополчан, – кого угодно, но только без предательства тут не обходилось, – и продолжающийся в таежных лесах стра-

ны, о коей речь, в ее синих снегах, так что из приготовительного класса переходишь мало-помалу в старший класс, а оттуда в университет, все длился и длился. И этот урок отменял все заученное прежде, в других школах и университетах, и все дипломы, полученные там, становились ни к чему, словно листки от календаря давно прошедшего года, словно облигации безвыигрышного займа, освобождал от всего бесполезного и лишнего. Лишней оказывалась вера.

Оказалось – и это было то, что роднило всех, к каким бы нациям, классам, поколениям они ни принадлежали раньше, до того, как они провалились в люк на глазах у перепуганных родственников и остолбеневших соседей, подняв облако пыли и словно превратившись в эту пыль, – то, что теперь объединяло и роднило их и слило их всех в одну нацию и одно поколение, поколение одураченных, вернее, одурачивших самих себя, – оказалось, что все, что им твердили с детства и что они заучивали чуть ли не с пеленок, повторяли сначала по буквам, потом целыми фразами, а потом уже чесали наизусть целые страницы, – все было ложью и чепухой от начала и до конца, фантомом, липой, мыльным пузырем, и, догадавшись, что их разыграли, они стояли теперь, скребя в затылках и недоумевая, куда же подевался хрустальный дворец, выстроенный джинном за одну ночь. Религии у них тоже не было, потому что Бога отобрали у них еще раньше, уверив, что Бог выдуман помогать поработителям обирать и обманывать народ, но оказалось, что без Бога так же тошно, как и с Ним. Поработители исчезли, а порабощенные остались, и, пробудившись от веры, как от смутного сна, мучительно зевая и озираясь и стыдясь глядеть друг другу в глаза, они поняли мало-помалу, что никакого джинна не было, да и ничего вообще не было, и что все они – безымянное потерянное стадо, плетущееся неведомо куда.

Ночью поезд остановился. Те, кто были в нем, могли догадаться, что снаружи ночь, по щелям задраенных люков, откуда только что к ним сочилось смутное белесое небо, а теперь вагон словно накрыли попоной. Четвертые сутки они слушали ритмичный грохот под полом, похожий на тиканье башенных часов, если бы их поднесли к самому уху; четвертые сутки – а может, и десятые, никто не знал – пол катился под ними куда-то под гору, и бледный свет трижды сочился из щелей, и вот поезд снова въехал в ночь и так и остался в ночи. Они услышали протяжный гудок, железные часы под полом пошли медленнее, раздался скрежет – они качнулись, но пол под ними все катился; вдруг опять они пошатнулись, что-то взвизгнуло и стихло. Внутри них нарастал, становился ощутимым напряженный до предела звон. Они стояли, насторожив уши, широко раскрыв глаза, ничего не видя, и ждали, когда поезд снова тронется, но он не трогался и не давал предупредительного гудка. Далеко впереди – или позади? – слышалось пыхтение паровоза: пху, пху, пху; потом шипенье пара: чш-ш-ш... ч-ч-ч-ч! – как вдруг они заметили, что пыхтящий звук стал удаляться, а вагон отцепился, остался в кромешной тьме; они часто дышали, и ничего больше не было слышно, кроме этого дыхания. Вдруг чьи-то шаги прошли совсем рядом, внизу, скрипя по снегу, и ушли, и снова стало тихо.

Прошло, как им казалось, несколько часов, прежде чем скрип валенок снова приблизился, стали слышны голоса, сиплый мат, кого-то звали, кто-то кашлял и сплевывал. Между тем глаза их, вращаясь в потемках, как потухшие прожекторы, начали прозревать, в щелках задраенных люков забрезжил свет, какая-то мечта о свете, но не свет неба, ведь до утра было далеко, а, скорее, желтоватый, мерцающий, как свеча, и они начали успокаиваться, тревога их улеглась: за стеной были люди, про них не забыли и, по-видимому, не собирались тушить огонь и уходить. Что-то тупо и тяжело ткнулось в стену там, где – они помнили – была дверь, и они услышали шаги, взошедшие на помост; замок заскрежетал совсем рядом, под ухом. И они поняли, что их сейчас выпустят, и, волнуясь, стали толкаться и переминаться с ноги на ногу.

Там, снаружи, человек в ушанке, в ватной стеганой телогрейке и валенках, поставив у ног фонарь, вынимал из кольца огромный замок, опускал тяжелую перекладину. Внизу ждали остальные, их было человек пять. Густой лес по обе стороны полотна, темное небо; впереди мертво светятся огоньки водокачки; сцепщик идет не торопясь вдоль поезда, мелькает за колесами его фонарь; паровоз ушел к водокачке. В стылом воздухе слышался кашляющий лай собак. Что ж, и в самом деле эта новая страна ничем не отличалась на вид от той, минувшей, откуда только что прибыл поезд.

Те, внутри, запертые наглухо, напряженно ждали. Сомнений не было: это люди здесь, рядом; слышно их тяжелое дыхание. Сейчас их выпустят. Слышно, как переговариваются, переругиваются; шуршат валенки. «Раз-два, взяли!» Вот сейчас откроется дверь. «Е-ще... взяли!»

Дверь поддалась, поехала, визжа заржавленным роликом; люди расступились. Тотчас, не дожидаясь, когда дверь уйдет до конца, из темноты стали высовываться, обдавая паром суетящихся людей на помосте. Мешала перекладина изнутри. Вытащили ее. И, стуча копытами, теснясь и толкаясь, и скользя по обледенелому помосту, лошади – живые души, продрогшие, истомленные бесконечной дорогой и ожиданием, робкие и обрадованные, стали выбираться на морозный, пахнущий шпалами и тайгой, чужой и неприятный и все же бесконечно милый Божий свет. Люди, стоявшие внизу, торопясь, считали их.

(Впереди, в голове поезда, тоже шла напряженная работа: солдаты, подняв фонарь, пересчитывали торопливо вылезших с мешками и чемоданами людей.)

Проваливаясь в снегу всеми четырьмя ногами, храпя и вскидывая головы, лошади сгрудились у подножья насыпи, перед заснеженными мостками: должно быть, летом тут был овражек, если вообще когда-нибудь здесь бывало лето. Но и сейчас они чуяли запах ржавой воды там, глубоко на дне оврага. Сверху, с насыпи, было видно, как конюх, стоявший перед мостками, закуривал, намотав на руку недоуздок, и лошадиная морда моталась в испуге и вырывала руку с коробком; наконец он сунул спички в штаны, примерился, упираясь руками, и прыгнул, пал плашмя поперек шарахнувшейся лошади, – в эту минуту он был похож на куклу, набитую опилками, – и уселся верхом.

Старший конюх и другие стояли на насыпи.

«Все, что ли», – сказал старший. Оставалось задвинуть дверь пульмана и сбросить помост.

Впереди раздался свисток, чей-то протяжный голос донесся издалека – человек с фонарем стоял у передних вагонов и что-то кричал им. Конюх на помосте, державший наготове замок, напряг было голос, чтобы ответить; в эту минуту внутри вагона раздался стук; все обернулись.

«Мама родная», – пробормотал парень с замком и попятился. Недоруганный мат, как слюна, повис на его губах. Глаза всех уставились в черную пустоту вагона.

Словно увидев перед собой какое-то чудовище, манекен, бутафорское чудо-юдо, соединившее разом мощь и немощь, ошарашенные, остолбеневшие, они почти со страхом смотрели на длинные, костлявые ноги в потрескавшихся копытах, которые даже не вышли, а как-то выехали из квадратной пасти пульмана, – и медленно, как только позволяли ему достоинство и остаток сил, гигантский конь сошел, как с пьедестала, величаво ступая по дощатому помосту, но у самой земли поскользнулся и, гремя копытами, едва не сел на круп.

Звук столкнувшихся буферов прокатился вдоль поезда, паровоз давал пронзительные свистки. Все лошади стояли, выстроившись гуськом и ожидая команды. В хвосте очереди, подобный белому привидению, высился диковинный конь. Старший конюх, водя пальцем, пересчитывал их всех для верности и отправился оформлять документы; он прошел мимо товарных вагонов и других, уже опустевших. Возле станции было безлюдно, но снег под фонарями был сплошь истоптан

и изъеден ноздреватыми ямками от мочи. Собачий лай заглох в лесу. Итак, они прибыли.

Наконец-то! В стойле громадный конь не сразу принялся за корм – сено из брикетов, довольно приличное, не накинута с жадностью на еду, что было бы естественно при его худобе и что не замедлили сделать другие, так что вся темная конюшня мгновенно наполнилась аппетитным и дружным хрупаньем, а долго принюхивался и присматривался: не видно было ни зги, люди исчезли, и сквозь прорезь под потолком к нему не проникало никакого света; он захватил губами несколько былинки и, мотнув головой, принялся неторопливо перетирать их своими плоскими, стертymi до десен зубами.

Он все еще находился во власти необычайных впечатлений дороги и переживал их, как будто злобещий поезд все еще грохотал под ним стальными колесами; и вот они остановились, умолкли, и вместе со всеми он ждал, когда откроется вагон, и выхотил, скользя по обледеленному помосту, и шагнул по изрытой дороге в лес, загородивший полнеба. Он шел так долго, что начал спотыкаться. Поднимая глаза, он видел впереди равнодушно покачивающиеся, как бы неживые фигуры верховых. Мигнул огонек. Замигало сразу несколько огней. Они плыли поперек дороги, огибая чашу, исчезая и появляясь. Вдруг луч, белый и слепящий, как меч с раздвоенным острием, проткнул ему глаза. Луч бил, разрезая лес, как струя брандспойта. Всадники во главе колонны, все так же качаясь, ушли с головой в слепящий свет, обрисовались в нем, позади них осветились спины идущих одна за другой лошадей. Потом процессия свернула вбок, и чудовище отпустило их, раскаленный добела глаз уставился в сторону – на кого?

Уже все вокруг было тихо, хрупанье смолкло, а он все переминался с ноги на ногу, озирался и нюхал воздух, пытаясь сообразить, что там, за стеной. Запахи были необычны, противоречивы. Вступая в новую жизнь, в который раз за долгие свои годы, он волновался и от волнения не мог уснуть. Ему чудились шаги, чьи-то возгласы... Понемногу дремота стала одолевать старого коня. Он заснул, отставив заднюю ногу, смежив веки, как бы застыл в глубокой задумчивости, похожий на осыпающийся монумент из замшелого алебаstra.

Он не осознал еще в полной мере, насколько ему повезло. Вся жизнь его была цепью неслыханных удач; удачей было уже то, что он доехал, добрался живой до лагерной командировки; удача ждала его и впереди, ибо ему предстояло жить, а не плавать, ободранному и разрубленному, и растворенному до полного исчезновения в корытах, в дымящемся желтом омуте, в котором повара, стоя перед раздаточной амбразурой, вращали длинными черпаками, и в этом жесте была заключена вся грация, весь восторг, вся царственная лень и царственная власть их профессии! Белому коню повезло: он стоял на земле, а не стелился паром над черными котлами, не путешествовал по кишкам и мочевым пузырям лагерных доходяг, не пролился дождем в отхожие ямы, где давно исчез безвестный одёр, чье стойло он занял, и те, другие, плоскими тенями маячившие там, где сейчас бодро хрупали сушеной травкой новички, не ведая, что их ждет. Он устал, но он был жив, ему хотелось лечь, ноги так и просились подогнуть их, преклонить колени и опуститься, смерть манила его, и с каким облегчением он плюхнулся бы на пол и склонил бы к земле свою костлявую голову с глубоко запавшими, вытекшими глазами – и все-таки он стоял.

Издали донесся унылый звон от удара кувалдой по рельсу, и ночь превратилась в утро. И когда во тьме конюшни под хруст ржавых петель медленно раздвинулся створ осевших ворот, они почуяли запах звезд, которые там, в черной прозелени неба, сверкали, как ртуть, обливая окрестность мертвым сиреневым светом. Лошади всегда чувствуют, как пахнут звезды. Никто уже не спал. Впотьмах то и дело раздавались глухие удары копыт, всхрапыванье, позвякиванье цепочек; рядом с белым конем сосед спросонья истоиво чесался о перегородку, и все стой-

ло ходило ходуном. Узкие, как щели, окошки под потолком затеплились, замерцали – это двигались по двору фонари; послышался скрип снега под ногами, кашель и первые хриплые ругательства. Люди принесли с собой желтый свет, яркий, ядовитый, от него хотелось чихать; все пришло в движение, столбы и перегородки заколебались, поехали вдоль стен, пугая стоявших в стойлах, пока, наконец, не угмонились призрачные огни, пристроившись где попало – на перевернутой тачке, на свободных крюках. Кто-то тащил лестницу, полез по лестнице на чердак, и кашель, словно больная птица, забился над головами, сквозь щели потолка посыпался мусор, потом сверху стали сбрасывать солому. Конь, похожий на иссохший памятник, не чувствовал голода, ему хотелось пить. Все же он пожевал из вежливости. Их начали выводить в проход, по одному, очевидно, не доверяя им.

На столбе против каждого стойла, как распятие, висел хомут, для каждой лошади свой, но рассчитаны они были для прежних, уже не существующих лошадей, и большинству новичков хомуты не подходили. Зевая так, что лица у них сходились складками подо лбом и из глаз выжимались слезы, конюхи стаскивали хомуты с лошадиных морд и примеряли другие, выискивая поцелее в куче старого хлама.

Очередь дошла до белого коня – каменный круп его высился за последней перегородкой. Мальчишка-конюх, с черной дырой во рту вместо передних зубов, прошмыгнув у коня под брюхом, стал отмыкать цепочку; ему пришлось для этого залезть на ясли, потому что с полу он, может, и дотянулся бы вытянутой рукой до груди, высеченной из белого камня, но до шеи нечего было и надеяться: он смотрел на нее, задрав голову. Шмыгая носом, точно всхлипывая, Корзубый расцепил, наконец, цепочку. И тогда с его тусклыми, беспокойными глазками рыси впервые и как бы случайно встретились человеческие глаза коня. Встретились и разошлись.

«Н-но, падла старая, пошел!» – заорал Корзубый, и престарелый конь послушно сдвинул с места каменную громаду своего тела. Он старался соблюдать осторожность, не задавить кого-нибудь сзади, не завалить перегородку и медленно пятился, между тем как тщедушный хозяин изо всех сил упирался ему в грудь, в то место, где начинаются ноги, с таким видом, точно он толкал паровоз.

Три месяца назад Корзубый был расконвоирован; срок жизни его в исправительно-трудовом лагере был им отсужен наполовину. Это был небольшой срок, ибо он не был важным государственным преступником. Он происходил из далекого, большого города, и, как все дети, выросшие на задворках столиц, в темноте и вони подворотен, Корзубый, дожив до тринадцати лет, так и остановился на них. Годы шли, а ему было все столько же: вечный подросток, он на всю жизнь остался хилым и маленьким, с синевой на щеках и желтыми глазами, блеск которых напоминал блеск облизанной дешевой карамели. Отца у него никогда не было, словно и родился он без участия мужчины, зато у них жил веселый парень в обмотках, «папаня», рыжий и веснушчатый, он приносил матери мыло, крупу и картошку. Один рукав его шинели был пристегнут к карману булавкой, но оставшейся рукой он творил чудеса. Он ехал издалека, из Германии, и куда-то далеко, остановился компостировать билет; компостировал без малого восемь месяцев, потом оказалось, что никакого билета не было. Первое время он уходил ночевать в общежитие к какой-то не то сестре, не то тетке; потом как-то незаметно все втроем стали просыпаться по утрам на широкой материнной кровати. Кровать эта, с почерневшими никелированными шарами, занимавшая полкомнаты, в сущности и была их комнатой. На ней раскладывали продукты. Как-то раз папаня ушел и не вернулся, а на другой день к ним явился участковый, он хотел сделать обыск. Но мать уломала его, и с тех пор он часто захаживал, приносил муку и американские консервы «лярд». Синие галифе с подтяжками висели на стуле, а портянки мать развешивала на батарее. В это время Корзубому было уже четырнадцать лет. Он лежал на полу рядом с милицейскими сапогами, и подтяжки касались его лица.

То, что он был невелик ростом, было даже удобно. Однажды он прибил к компании морячков на Курском вокзале, они повели его с собой, усадили за стол, угощали пивом; до поезда оставалось часа два, они вышли из ресторана и забрали вещи из камеры хранения, но времени все еще оставалось много. Они решили зайти еще в одно место, добавить, как они сказали, Корзубому велели караулить вещи, шинель дали, чтобы не замерз, велели не спать. Он и не думал спать: попробовал один чемодан, но не смог его даже поднять – матрос вез в нем из Германии часы. Он знал, что там часы, – матрос сболтнул за столом, он даже кулаком стучал по скатерти, кричал: «Я все могу, я всех баб в этом зале могу купить, всех подряд; у меня, может, одних бочат рыжих цельный чемодан!» Чемодан был заперт, он взялся за другой, тоже ужасно тяжелый, приходилось то и дело останавливаться – менять руку. Тем временем моряк, тот, который отдал шинель Корзубому, на вокзальной площади хватился папирос; его отговаривали, совали ему серебряный портсигар с махоркой, но он отпихнул их и пошел через площадку назад за своим «Казбеком». Моряк увидел в зале ожидания свою шинель: она тащилась с огромным чемоданом между скамьями, задевая сидящих и лежащих. Зал был битком набит, и вообще в те годы вся Русь, казалось, была в пути, бежала и возвращалась. Хозяин чемодана рассчитал точным глазомером, сколько тому еще пробираться, и вернулся к ожидавшим корешам. А Корзубый все пробирался. Вдруг кто-то взял его повыше локтя – он скосил глаза, на руке был синий якорь; не раздумывая, кошачьим движением он выпрыгнул из шинели, метнулся к выходу; какой-то старик, лежавший у дверей, занес на него свой костыль – он пнул его ногой в лицо, дед схватил Корзубого за ногу, Корзубый упал. Он вырывал руки, кусался, садился на пол, а его тем временем выволакивали через боковой выход. Зал, потревоженный, зашевелился, люди поднимали головы от узлов, влезали на скамейки, женщины раскачивали плачущих детей, не отрывая глаз от выхода; воры шныряли между скамьями. На дворе – это был задний двор, окруженный кирпичной стеной, – было пусто и холодно, за стеной над площадью стыло лиловое сияние фонарей. Несчастный Корзубый стоял посреди двора, матросы обступили его, тот морячок участливо заглянул ему в лицо и, прищурился, двинул его кулаком, как поршнем. Корзубый отлетел к стене. К нему подошли, подняли; матрос прицелился – и снова он отлетел к стене. И в третий раз повторилось то же. Потом они закурили. Кепчонка Корзубого валялась на земле, ее заботливо подобрали, нахлобучили ему на голову. Похлопали по щекам, усадили на пустынное крыльцо. Они не имели намерения мстить и били вполсилы, но считали, что ему нужен урок, хорошо запоминающийся. Один из них вынул из рюкзака буханку белого, отрезал половину и сунул Корзубому в карман. И все ушли. Он остался один на крыльце, сидел с опущенной головой и расставив ноги, чтобы толстые вишневые сопли, как жгуты, висевшие из ноздрей, не липли к одежде. Собственно, в этот день он и стал Корзубым.

Белый конь, пятясь, вышел из стойла. По-видимому, его не собирались вести на водопой, а вместо этого занялись подборанием хомута, что было нелегким делом. Корзубый, всхлипывая, притащил пустой ящик и взбирался на него каждый раз, держа хомут, как образ, которым он собирался благословить коня, и каждый раз хомут падал, как бесполезный хлам, в общую кучу. Белый конь сам изо всех сил помогал, вытягивал голову и вертел шеей так и сяк, пытаясь втиснуться в это подобие круга от ступьчака, но, право же, это было все равно, что просунуть ногу в горлышко бутылки. Огромный круп коня загородил проход. Какой-то конек, так называемой монгольской породы, приземистый и густо обросший с ног до головы мохнатой шерстью, оказавшись сзади, воспользовался минутой и больно лягнул его снизу крепкой короткой ножкой. Конь вздрогнул и строго посмотрел на него. Постепенно конюшня опустела, фонари погасли. Через раскрытые ворота видны были в сиреневых сумерках силуэты лошадей, в хомутах и седелках, между ними

ходили конюхи, заканчивая последние приготовления. Белый конь, моргая, стоял один. Во рту у него совсем пересохло. Неожиданно сверху на чердаке раздался шум, посыпалась труха, и затем нечто бесформенное и громоздкое свесилось из дыры над лестницей. Покачавшись, полетело вниз и с треском грохнулось об пол. Конь, озадаченный, моргал седыми ресницами, глядя на это событие. Показались ноги Корзубого в валенках «бе-у», то есть бывших в употреблении, – он слез, покрытый пылью, и, утирая нос рукавом, потащил за собой через всю конюшню неслыханных размеров изодранный и измочаленный хомут, который годился мамонту. Гужи были такой величины, что он сам мог бы пролезть в них без труда. Со двора на помощь Корзубому пришли двое: верзила в телогрейке, едва доходившей ему до пояса, тот, который все время кашлял, и еще один старик. Втроем с великими трудами напялили на голову коня древнюю руину, перевернули, обдернули, выпростали из-под хомута запутавшуюся седую гриву и подвязали супонь; на спину коню водрузили седелку с торчащим сверху заржавленным арчаком.

Он был готов. Утро едва брезжило. Но ему не дали времени напиться вдосталь из длинного выдолбленного бревна, оплывшего льдом. В полутьме он двинулся мерным шагом по узкому проходу для лошадей, мимо колодца, обросшего сосульками, мимо сараев, вслед за ушедшими, туда, где сияли огни.

Он увидел то, что отныне должен был видеть каждый день: ворота и выходящих из ворот, в длинных ватных бушлатах, по четыре в ряд (надзиратель махал пальцем – считал ряды), увидел сидящих полукругом псов, бодро облизывающихся, возле каждого стоял солдат, приплясывал и хлопал себя по бокам. Два прожектора обливали площадку перед воротами белым металлическим сиянием; и было видно, как четверка за четверкой, вытолкнутые из ворот, подходили к четырем надзирателям, расстегивались и поднимали руки. Те обнимали их и щупали от подмышек до колен.

Выстроилась колонна до самого поворота – до угловой вышки. Очевидно, пора было уже выступать в путь, но начальник конвоя, проваливаясь в снег, пошел вдоль колонны пересчитывать снова, лично, еще раз. Пересчитывание имело глубокий смысл.

Конечно, никто из них не был настолько тупоумен, чтобы предположить, что кто-нибудь из колонны сбежит во время сложной и канительной процедуры утреннего развода, медленного процеживания из ворот, пересчитывания и выстраивания на дороге по ту сторону ограды, под скучающим оглядом надзирателей и солдат, под умными взглядами собак, под пулемётами на вышках, под неподвижным и ничего не выражающим взглядом начальника лагпункта, стоящего на крыльчке вахты и видного всем: бежать было невозможно. И даже тот единственный из тысячи, простреленный автоматными очередями, искусанный овчарками, неукротимый и неисправимый Беглец, тот, для кого не существовало невозможного, даже он, если бы его вывели с этой колонной, выбрал бы для побега другое время.

Но при передаче человеческого поголовья, всей этой рабсилы, как она именовалась в бумагах, от одного символического владельца другому нужно было, чтобы лагпункт не перепоручил конвою ни одного лишнего человека, а конвой – чтобы не недополучил ни одного недостающего; строго говоря, никого не интересовала сохранность общей цифры самой по себе, а важно было, чтобы никто ни за что не отвечал, но этого взаимного недоверия было достаточно, чтобы обеспечить должную бдительность и тем самым соблюсти интересы высшего и незримого государства.

Ровно столько, сколько убыло по одной графе, ровно столько же должно было прибыть по другой. Ибо каждый из тех, кто только что был выпущен за ворота, кто вышел оттуда, как на казнь, понутив голову, стараясь как можно дольше растянуть остаток времени до начала работы, как можно меньше торопиться, кому

сейчас, совсем как Корзубый своему дохлomu коню, кричали то «стой», то «пошёл», то снова «стой», каждый из них был не просто рабочим, одним из неизвестных тысяч и тысяч строителей пирамид, а числился в бумажных ведомостях – числился, как будто подлинной жизнью было это мистическое существование в качестве палочки или цифры, а земная убогая жизнь лишь зыбким его отражением. Числился, то есть состоял на учёте в списках, сводках и картотеках, на фанерке у бригадира, на доске нарядчика, на бирке, приколоченной к нарам; числился в столовой, где он состоял на довольствии, в формуляре у начальника спецчасти, в деле у оперативного уполномоченного, и дальше, и выше, в спецотделе Управления лагеря, в архивах тюрем и пересылок, в Главном Управлении Лесных Лагерея и в Управлении Всех Лагерея. И в совсем уже нереальном Министерстве, в заоблачных высях, которые даже не в силах представить себе обыкновенное человеческое воображение, не в силах постигнуть обыкновенный ум; в катакомбах секретных картотек среди миллионов других имён значилось и его безымянное имя. И все эти дощечки, формуляры, учётные карточки и пухлые, как телефонные книги, следственные дела – они-то и были подлинныe цепочки, цепи и цепищи, которыми невольники были нерушимо прикованы к лагерю, то есть, в сущности, друг к другу, они, а не колючая проволока, пулемёты и автоматы. И если бы даже пожар спалил деревянный частокol вокруг бараков, если бы часовой-попка уснул со скуки и свалился с вышки вниз головой, а великий начальник повесился в белой горячке в своём кабинете, то и тогда Твердыня Учёта красовалась бы и стояла неколебимо, как Россия; её не в силах было сокрушить ничто и никогда – ни ныне, ни присно, ни во веки веков.

Конь, терпеливо стоявший, стараясь не задремать, не уронить головы, пока не окончится развод, не подозревал, что и сам он состоит на учёте вместе со своим хозяином, со стойлом и хомутом, со всем миром своих дум, с памятью о прошлом и чёрной дырой будущего; что за него уже расписались и даже новое имя присвоено ему. Этой клички он никогда не узнал – не узнаем и мы, потому что к нему, как ко всем этим людям, никто никогда не обращался по имени. Утро медленно занималось, светлело небо, новички, опустив головы, тянулись гуськом, глядя в хвост один другому; впереди покачивающихся мерно лошадиных крупов шагали два солдата-азербайджанца, глаза их, сверкающие, как антрацит, равнодушно озирали унылую окрестность и казались неуместными здесь, в этой лишенной красок и звуков стране; они шагали, скучающие охотники, по снежной дороге, механически сжимая свои автоматы, дула которых опустились книзу, а еще впереди, шагах в двадцати, покачивались плечи и спины последней четверки заключенных.

В хвосте лошадиной процессии, шествовавшей вслед за людьми, кивая короткой головой, послушно семенял мохнатый монгольский конек, присмиривший от впечатлений. И самым последним, крупно ступая расплюснутыми копытами, с окоченевшим Корзубым на спине, медленно шел белый конь.

Загон, устроенный перед входом в рабочее оцепление, был забит людьми до отказа. Ждали, когда охрана разойдется по вышкам. Конюхи спешили, их дело было довести коней до оцепления и передать возчикам, в загон же им не разрешалось входить, чтобы не путать счет. Наконец, стали впускать в оцепление: первыми пошли возчики, за ними двинулись кони.

Явление гигантского коня, замыкавшего шествие, произвело сенсацию. Все головы из загородки, поворачиваясь, следовали за белым конем, как подсолнухи за солнцем, пока он не скрылся в дощатом сарае, где помещалась кузница. Конь вышел оттуда подкованный и показавшийся еще выше, кузнец провожал его, глядя на его копыта, а молотобоец, здоровый детина, тоже вышедший проводить, выглядевший щуплым возле белого коня, смотрел на него почти с суеверным благоговением. Стрелки у входа в оцепление и сам начальник конвоя издали гля-

дели на коня. Тут как раз начали выходить из загона; толпа, радостно гогоча, бросилась поглазеть поближе на богатырскую клячу. Что-то сверхъестественное, сказочное и вместе жалкое было в огромной фигуре с седой нечесаной гривой, с выпиравшими под кожей маслаками; конь покорно занял место в конце обоза; и трудно было предсказать, что с ним будет в этот день: он мог, казалось, свезти на себе целый штабель, а мог и рассыпаться при первом рывке, превратиться в громадную кучу костей и ног посреди лесосеки. Загон опустел, и солдаты с закинутыми за спину автоматами задвинули бревна, перегораживающие проход. Властный рык бригадира разогнал работяг. Возчики уселись, выплюнули мат. Обоз двинулся.

Отсюда до лесосеки было километра два. Оцепление, уходившее рядами вышек далеко в обе стороны, опоясывало всю эту землю: кузницу, мастерские, лесосклад с железнодорожной веткой, широкое сумрачное поле и лес, темнеющий вдали. Но даже здесь чуткие ноздри лошадей улавливали едва ощутимый запах гари — дым костров, смешанный с запахом талого снега. Этот запах на всю жизнь запомнил всякий, кто побывал здесь, он отпечатывался в мозгу. Так началась жизнь белого коня в лагере, последняя из отпущенных ему жизней.

Но вот край неба, совсем уже светлый, порозовел, приняв цвет неспелого арбуза, и казался таким же холодным, но с каждой минутой зрел и наливался соком и, наконец, зажегся, вспыхнул огнем и зазвенел! Среди звона и света на снег из-под земли вывалился малиново-рыжий шар солнца. Красный свет побежал по дороге навстречу идущим, отразился на лицах, блеснул на стальных удилах и замерцал в глазах лошадей. День родился и готовился расправить плечи, и старый конь, чую запах зари своими нервными розоватыми ноздрями, всей кожей ощущая этот морозный огонь, щурясь и моргая, почувствовал, как проклятые ночи сваливаются с него наземь, и он переступает через него, словно через презренную падаль. Ничего, сказал он себе, еще поживем; ничего. Бывает хуже.

Белый конь стоял посреди делянки. За ним стояли лесовозные сани, двойные, низкие, связанные цепью крест-накрест, возить которые было, очевидно, сущим пустяком. Особый человек разъезжал по оцеплению с бочкой, которая издали казалась облитой патокой, у лошади хвост был весь обвешан, как бубенцами, сосульками, а сам водовоз, в телогрейке, покрытой спереди стеклянной броней, и в таких же, стоявших колом обмерзших штанах, сверкал и искрился, как леденец. Целый день он поливал водой санные колеи, поливал старательно, не темнил, потому что дорожил своим местом и держался за него.

Вокруг уже трещали костры и сильно пахло смолой; на опушке раздавалось равномерное стрекотанье, как будто там тренировались в стрельбе из пулемета. (Лошадям, бывшим артиллерийским тяжеловозам, этот стрекот напоминал войну и Германию.) Вдруг сильный треск резанул по ушам коня; он вздрогнул и обернулся. Высокая сосна, прямо и стройно рисовавшаяся на голубом небе, одна впереди всех деревьев, пошатнулась и стала медленно клониться, но не от ветра, потому что осталась прямой и стройной, — и вдруг, затрещав еще ужасней, описывая дугу, стала падать лицом вперед и грохнулась, разбросав на снегу свою пышную крону. Ветки были еще живые, качались и вздрагивали. Белый конь был поражен: он считал деревья бессмертными. Тайная догадка о великом преступлении смутила его. Быть может, он даже, подобно многим его собратьям, обожествлял деревья. Событие это, однако, ни на кого не произвело впечатления. Возчик, занятый приведением в порядок цепи, даже не поднял головы. Люди облепили со всех сторон убитое дерево: сучкорубы взмахнули топорами, сучкожоги, проваливаясь в снег, потащили к костру охапки ветвей. Моторист, краснолицый здоровый мужик, взвалил на плечо пилу и, волоча за собой черный кабель, полез большими шагами по снегу, подбираясь к золотистому обнаженному стволу, и стал резать его на части.

Конь ждал. Навальщики, с коричневыми от зимнего загара лицами, пыхтя и орудуя вагами, катили вверх по каткам толстые баланы. Бревно за бревном валилось с катков к нему на санки, и все было мало. «Еще давай, еще», – повторял озабоченно возчик, видимо, возлагая большие надежды на необыкновенного коня. Здесь все работали дружно, выкладывались до конца, и никому, по-видимому, не приходила в голову мысль взбунтоваться, плюнуть на план, сойтись всем вместе... А ведь начальство было далеко, и бригадира не было среди них.

Бригадир с помощником вместе коротали время на складе, в инструменталке, где, сытые и в тепле, они играли в домино, лениво отрывивая матерную брань; авторитет их как руководителей производства был несовместим с работой. Здесь же каждый работал, зная, что работает «для родины», то есть ни для кого. Ни, тем более, для себя. Но каждый тащил свою ношу и знал, что и завтра будет тащить, и послезавтра. Он тащил ее, потому что справа от него тащил свой жернов другой, такой же, как он, а слева третий. А те тащили, потому что он тащил.

Возчик рванул вожжи, и конь, склонив шею, толкнулся вперед могучей грудью. Но воз не сдвинулся – казалось, примерз к колеям, пока стоял. Возчик снова дернул, и снова конь толкнулся; сани не шелохнулись. Белый конь стал топтаться на месте, качаясь вправо и влево, возчик бросился искать корягу, дырн, что-нибудь, необходимое, по его мнению, чтобы разбудить ветхого одра и воодушевить на труд... Конь по-прежнему топтался, не обращая внимания на угрозы: он знал, что перегруженный воз нужно прежде расшатать, чтобы он сдвинулся с места; посмотрим, думал конь, еще посмотрим – и все качал и качал плечами оглобли. И вдруг он дернул, упершись в землю всеми копытами, напряжив шею и широко раскрыв набухшие кровью глаза, дернул – и сани тронулись. И вместе с ними, шумно дыша, кивая костлявой головой, вбивая в землю копыта, двинулся вперед огромный конь. Он шел, таща за собой скрипучий воз выше себя и раза в три длиннее, а сзади, поскользываясь в колеях, торопился, бежал за ним возчик.

Лес расступился и выпустил их. Среди снежного поля, под расплывшимся в бледном небе желтым и туманным солнцем, оба сразу уменьшились, уничтожились – лошадь ростом с мышь, равномерно печатающая шажки по узкой полоске санного пути, воз в три спичечных коробка, груженный карандашами, и семенящий следом крохотный человек в кукольных лохмотьях. Игрушечные вышки, воткнутые в снег через равные расстояния, стояли справа от дороги. Это была граница их мира.

«Но-о!» – скомандовал возчик, погруженный в свои мысли, автоматически, как только прекратился скрип саней; он чуть было не уперся грудью в торцы, продолжая идти за возом: сани стояли как вкопанные. «Чего стал, н-нэ!» – повторил возчик. Он обошел воз, увязая в снегу. Белый конь, мокрый, как мышь, с остановившимся взглядом, странно перебирал на одном месте дрожащими ногами, и худые бока его со слипшейся потемневшей шерстью раздувались и опадали, словно меха.

Он сам не понимал, как это случилось, – сани остановились точно по своей воле. Нет, это проклятые ноги остановились, не спросившись у него, а ведь тут был длинный подъем, больше половины еще оставалось впереди, и он обязан был выложить все, что у него было, всю силу и упорство, и любой ценой допереть доверху; и вдруг стал. Словно глыба гранита свалилась сверху на его воз, вдавив его на полметра в землю.

Ноги дрожали, и невозможно было унять эту дрожь. «Сейчас, – сказал он молча, про себя, – сейчас...». Там, сзади, бесновался и размахивал руками обросший щетиной человек. «Ну?» – спросил конь у своих ног, и ноги пробормотали: «Попробуем». «А ты?» – спросил он у шеи. «Я-то ничего, – отвечала шея, – а вот плечи?»

Он расставил ноги, укрепил их попрочнее и, согнув дугой костлявую шею, дернул, но сани даже не шелохнулись. Он переставил ноги, дернул. Сани и тут не двинулись. Сейчас же что-то увесистое стукнуло его сбоку, ниже крестца. Человек кричал на него. А что ему еще оставалось делать? Он прав, подумал конь. Но раскачивать воз он не решался, потому что, хотя уклон был небольшой, сани все же свободно могли поехать назад, и тогда уж их не удержишь. «Эй, вы», – скомандовал он, а себе он сказал: «Держись», – и подобрался весь; и вот, нащупав упор, вдавившись в землю четырьмя ногами, вобрал в себя воздух и рванулся изо всех сил. Но сани не сдвинулись. Он опять дернул, потянул изо всей мочи. Они не сдвинулись. «Глупо, – подумал белый конь, – это уж совсем глупо». Возчик, который помогал ему, как умел, по-видимому, успел утомиться и тяжело дышал ртом, опустив дубину. «Спокойно», – сказал конь; внезапно, бешеным рывком, царапая лед копытами, он бросился вперед: передние санки скрипнули, воз качнулся – и не сдвинулся. Теперь он весь дымился, пот, не успевая превращаться в иней, стекал по его бокам извилистыми ручейками. Он решил покачать осторожно. «Только не сразу», – предупредил он и выбрал на всякий случай ямки для упора, если глыба поползет назад. «Ну?» – спросил он главным образом для бодрости. Плечи молчали. Он подождал полминуты, потом глубоко задышал, закивал большой головой, затоптался, думая только об одном: как бы не потерять свои точки упора. И обледенелые оглобли запели и затрещали внизу, в тех местах, где они были прицеплены к крюкам в полозьях. Ему удалось качнуть передние санки («Балуй у меня, сволочь, затанцевал!» – закричал возчик), и каждую минуту он со страхом ждал, что сани поедут назад; они не поехали; между тем он выбирал момент; весь смысл этого приема состоял в том, чтобы, раскачав, сразу дернуть, и воз не успеет остановиться. Он раскачивал все сильнее, теперь уже не только оглобли – весь воз за спиной у него стонал и пел на все лады. Раз, два – возчик схватился за оглоблю, конь кивал головой все сильнее... три! Рванул! И что-то шелохнулось. Рванул! – на вершок сдвинулись тяжелые сани, – рванул!.. Но больше они не двигались. Примерзли. И он стоял, уронив голову, в глазах пошли зеленые круги, колени колыхались.

«...П о д х а т!» – заорал, вдруг спохватившись, возчик. «Подхват, подхват!» – взывал он в отчаянии, в страхе и надежде, потому что не сваливать же с воза: бригада живьем сожрет за погибшие проценты, да и не под силу одному разгрузить. «Подхва-ат!..» – и голос его бессильно повис в пустоте, а в полусотне метров, на вышке, солдат-азербайджанец, скучая, притопывал толстыми валенками, смотрел на него и пел тягучую песню.

Что-то показалось из лесу, это трусила лошадь. Подхватник подъехал, подпрыгивая, как мешок на ухабах, – он скакал без седла. Он был тощ и бледен, только большие перепончатые уши, вылезшие из облезлой ушанки, надетой задом наперед, сильно краснели. Свалившись со своего коня, подхватник пустился отплясывать чечетку – грелся. Белый конь тотчас узнал его лошаденку: это был давешний лохматый конек, утренний приятель; возчик схватил его под уздцы – монгол оскалится, замотал головой и начал мелко рыть снег передним копытом. Возчик молча отвесил ему рукавицей по короткой морде. Конька поставили впереди, подвязали постромки. Сзади белый конь из своих оглобель смотрел на него сверху вниз спокойным безнадежным взглядом.

Ушатый сидел на снегу и тер, кряхтя, свои уши – точно чесался. Старик-возчик гаркнул команду: «...твою мать!» – воздел руку с дубинкой, и началась эта бесконечная глупая маета, бессмысленность которой была ясна заранее каждому, и только люди этого не понимали: в десятый, в двадцатый раз, надсаживая горло и то хватаясь за оглобли, то отбегая назад, чтобы упереться в бревна, и снова подбегая, ломая свои устрашающие орудия о спины лошадей, старик гнал их вперед и чем больше выбивался из сил, тем становился упрямее. Все было напрасно, хуже то-

го, бесцельно – уже потому, что не было слаженности у старого коня, теперь едва державшегося на ногах, и малорослого конька, так что один раз малыш даже чуть не свалился и, вертясь под ногами, махая грязным хвостом, в сущности, только мешал.

«Эх, – сказал Ушатый, сидя на снегу, – батя... Охота тебе. Да мать их в рот и с ихней работой!»

Возчик как будто не слышал его слов: он что-то делал там, за санями – сопя, разгребал снег. И вот, поднявшись и подняв над головой своей то, что он откапывал из-под снега – обледенелую доску, – бросился вперед с новой и невиданной яростью, словно это были не лошади перед ним, а нечто мерзкое и ненавистное, олицетворявшее его собственную мерзкую жизнь. Несчастный конек заметался в постромаках, сам белый конь, сильно обеспокоенный, мотал головою и пятился, хомут с дугой стал налезать ему на голову; но все это продолжалось недолго. Доска сломалась, возчик с отвращением отшвырнул обломок и сел с размаху на снег, хватая ртом воздух.

«Ну, чего я говорил, – заметил укоризненно Ушатый. – Кончай, батя, в рот их...».

Возчик ничего не ответил, по его лицу стекал пот. Семь лет назад он был приговорен отбывать двадцать пять лет в невидимой стране за что-то, чего он и сам уже не помнил; но теперь он об этом не думал, как не думал вообще о своей прежней жизни: она была ампутирована, ее просто не существовало. Он думал о том, что и у него, и у этого полуцветного ублюдка, сидящего на грязном снегу, один общий враг – производственный план. Возчик думал о работе. Не было ничего на свете ненавистнее работы. «На х... нам этот лес – мы его не сажали!» – изрек Ушатый.

Вдруг он вскочил. «Подлюки! – закричал он. – Едут. Торопятся, хады. Чего торопятся – срок большой!»

Повернув голову, возчик тупо посмотрел в сторону леса: оттуда показался следующий воз. Дорога одна – с колеи не своротишь...

Ушатый заволновался.

«Ты, але, батя... Ты давай сваливай. Вот что. Дорогу надо освобождать».

«А ты-то на что, – отвечал, насупясь, возчик. – Я буду разгружать, а ты гузно греть?»

Ушатый открыл черный рот, воззрился на старика. «Ишь т-ты! – сказал он. – Фашист! Не хочешь работать, падло?...» – «Э-гей, подхват!» – раздался со стороны леса истошный голос. Потом снова: «...а-ат!» Там тоже остановились. Ушатый прищурился и смачно сплюнул на старика. «Отпрягай!» – приказал он. Возчик не шевельнулся. Тогда Ушатый сам отвязал свою лошадь, уселся верхом и поскакал к лесу, подбрасывая локти, Старик равнодушно смотрел ему вслед.

Но Ушатый не остановился у застрявшего на опушке воза, а объехал его и скрылся в лесу. Спустя немного он показался снова на дороге, и усердно кивающая короткая голова монгольского конька стала увеличиваться навстречу неотрывно смотревшему старику. Ушатый что-то вез. Он спрыгнул и полез по снегу в своих опорках, шурясь от дыма и даже не взглянув на старого коня, который с любопытством повернул к нему голову. Ушатый с озабоченным видом подбирал вожжи одной рукой, все так же шуря глаза и отворачиваясь от едкого дыма...

Опомнившись, возчик вскочил на ноги. Но было уже поздно. С непостижимой быстротой Ушатый подцепил обеими вожжами репицу, и хвост приподнялся. В ту же минуту Ушатый, высунув язык, подскочил и воткнул тлеющую головню под хвост белому коню. Конь вздрогнул, как от удара током – запах горелого мяса пронесся в воздухе, – конь рванулся отчаянно вперед, сани затрещали и тронулись.

Возчик поспешил за санями.

«Подхва-ат!» – донеслось к ним из леса...

Белый конь стал привыкать к своей работе; потянулись дни; работа каждый день была одна и та же. Она уже не казалась ему невыполнимой. Возчик узнал его лучше и нагружал ровно столько, сколько можно вытянуть при максимальном напряжении сил. На большом циферблате года, где один день был лишь малой частью самого маленького деления, со скрежетом передвинулись стрелки. Малиновое солнце снегов закатилось – вместо него взошло ржавое, желтое солнце болот, и навстречу ему из разбухшего снега высунулись бурые кочки, выставили плешивые головы старые пни, засверкали лужи, и огромные, обреченные на смерть березы беспомощно заплакали светлыми слезами. Дорога почернела, поднялась и стала проваливаться под копытами; мокрые сани скреблись об нее полозьями. По-прежнему рослый конь тащился со своей поклажей, словно козявка, посреди широкого поля; но оно уже не казалось, как прежде, пустым и безжизненным. Чуть ли не вдвое увеличилось расстояние от делянок до штабелей лесосклада, и кругом на необозримом пространстве расстилалось кладбище пней.

В мае перебрались в новое оцепление, над которым подготовительная колонна прудулила целых четыре месяца: в густом лесу, где снег в лощинах был по грудь, прорубили широкие, в пятьдесят метров, просеки. Сверху, если бы кто-нибудь пролетел низко на самолете, это выглядело как грубо вырезанный квадратный остров на краю таежного океана; сейчас же вдоль четырех просек начали ставить вышки, построили заборы и проволочные ограждения. После этого дорожные бригады с разных сторон врезались в чащу, они построили там, во тьме и сырости, лежневые дороги, от которых загибались по сторонам усы – ответвления к делянкам; новый ломоть тайги размером четыре квартала был отрезан, оцеплен проволокой, обставлен вышками и разбит на участки, и уже заранее было подсчитано, сколько добычи можно увезти с каждого участка, и эту цифру в управлении лагеря умножили на два, и это и был план. И план этот, для того чтобы начальство получило премию, должен был быть перевыполнен. Птицы, вернувшиеся из южных стран, в испуге разлетались куда глаза глядят, звери панически бежали, услышав стук топоров, жужжание пил и глухой шум падающих деревьев, и стрелки на вышках автоматными очередями били скачущих через просеку лосей и зайцев – от скуки, потому что некому было их подбирать.

Она была короткой, эта весна, и таким же коротким было лето, которое здесь встречали и провожали, не снимая ватных доспехов, только вместо стеганых вислозадых штанов обитатели тайной страны нарядились в портки из синей диагонали, которая тут же слиняла, оставив чернильные пятна на ягодицах и коленях; и были розданы новые портянки, белые и чистые, которые в первый день весело выглядывали из ботинок, а остальные триста шестьдесят четыре дня были уже как прежние – черные и заскорузлые. Новые башмаки, как ни крепились, к вечеру превратились в старые; утром перед разводом бригадники заботливо мазали их солидолом. Утро теперь начиналось рано; но еще до рассвета белому коню, дремавшему в своем стойле, чудилось чавканье башмаков по навозной жиже: они шли, эти башмаки, за ним, по его душу, неумолимый звук приближался, и он поднимал свою каменную голову с пустыми черными глазами – на дне их, как пробудившиеся существа, оживали его глаза, – и, пяясь, он выбирался из тесного стойла. В урочный час громадный конь, мерно переступая расплюсченными копытами, выходил и становился в оглобли.

Уже у него был запал – неизлечимая эмфизема легких. Искривление передних ног, называемое козинцом, которое и раньше было у него, теперь стало особенно заметным. Но рост его не уменьшился. Худой и костлявый, с выпирающими ребрами, он казался еще выше и страшнее. Он проработал в летнем оцеплении всего две недели, упал на лесосеке и был списан с производства в хозобслужбу.

Примерно к этому времени исторические предания относят важный политический переворот, происшедший на лагерном пункте, хотя сам по себе случай, послуживший его причиной, не представлял ничего необыкновенного. В одно прекрасное утро растворились ворота, выпуская работяг; позади, как всегда в это время года, раздавалось жестяное гремяние самодеятельного оркестра, и под звуки бодрого марша, следом за первыми бригадами, в тусклых солнечных лучах, пятьдесят заключенных вымаршировали ряд за рядом за зону, в подштаниках – и больше ни в чем. Должно быть, их воодушевила надежда, что начальство, увидев такое бедствие, задержит, начнется разбирательство – там возня с каптеркой, с бухгалтерией, а тем временем развод кончится, ворота закроют, и удастся прокантироваться в зоне, в согласии с народной мудростью: «день канта – месяц жизни». Но никто не среагировал, начальник конвоя равнодушно поглядел на них – явления в исподнем случались после игры в карты, правда, не целой бригадой, – и псарня, не моргнув глазом, пересчитав, выпихнула их к остальным в колонну. Оттуда раздался великий хохот. Но было холодно. Голос с мусульманским акцентом прокричал обычное наставление: за неподчинение законным требованиям, «попытку к бегству» конвой применяет оружие. Ясно? Следуй! – колонна двинулась, и их тощие ягодицы, обтянутые ветхой тканью, задвигались в такт, и желтые пятки, по четыре пары в ряд, зашлепали по жиже.

Впереди шагал, придерживая кальсоны, бригадир, он был мрачен. Это он первый заметил, проснувшись от холода, раму, вынутую целиком из окна, она виднелась снаружи, прислоненная к стене барака. Его койка стояла напротив окна. Вся секция была, что называется, подметена под метлу, не осталось и пары рваных башмаков, и со всех сторон, наверху и внизу, с нар свисали, сиротливо почесывающаяся, босые ноги. Когда же бригадир, заглянув под койку, единственную во всем бараке, посмотрел туда, где накануне вечером стояли вымытые дневальными его резиновые бригадирские сапоги, его гордость, символ власти и благоденствия, то только и смог пробормотать: «Ну, с-суки!..» – но в голосе его прозвучал отдаленный гром. На другой день после марша был плановый выходной, подарок начальника, и какой-то праздник – в столовой, украшенной лозунгами, выдавали премии лучшим производственникам: кусок мыла и двести пятьдесят граммов хлеба; а когда стемнело, толпа, вооруженная кольями, молча двинулась в секцию полувцветных. Песни и пляски и беззаветное шлепанье себя по обтянутому диагоналевыми портами заду под гитарный звон – все смолкло, когда в сенях раздался топот – где-то удалось добыть, взамен украденных, вконец разрушенные и списанные башмаки; дверь чуть не разлетелась от удара ногой, на пороге стояли работяги, держа наготове то, что составляло чахлых палисадник, ограждавший главный трап. Мрачный голос гаркнул: «Под нары!» – в одно мгновение все очутились под нарами, несколько старших блатных сидели на своих местах, глаза их бегали. Потом вдруг погасла лампочка, и во тьме послышалось что-то вроде хриплого лая.

Спустя несколько времени маленький, щупленький, незаметный работяга, из тех, чье имя никто никогда не помнит, войдя в столовую, где уже окончилась торжественная часть и началась самодеятельность, пробрался между рядами и, толкнув фельдшера, сидевшего на почетном месте позади начальства, сообщил кратко: «Заберите», но когда фельдшер с лепилой, ворча и бранясь, явились все же в барак, понуждаемые профессиональным долгом, то могли лишь увидеть в потымах, что забрать «это» не только четырьмя, но и двадцатью руками невозможно.

Нескольких человек похоронили. Утром унылая процессия покидала лагпункт: одни ковыляли, обмотанные тряпками и бинтами, опираясь на руку товарища, другие тряслись в телегах: их переводили в другое место, большинство держало путь на больничку. И умный белый конь, влачивший дроги во главе траурного обоза, размышлял о бренности власти, о недолгой славе земных владык.

Привалило работы уполномоченному и стукачам. Оживилась переписка инстанций. Пятьдесят дел в новеньких синих папках было заведено – на всех членов бригады, дождавшейся-таки отдыха: ибо все пятьдесят сидели в кондее. Но олигархическая власть духариков и цветных была свергнута. Ближайшим результатом этих событий было то, что по всей стране Лимонии издан был строгий приказ убирать палисадники со всех лагпунктов.

С августа начал лить дождь. Однажды начавшись, он уже не мог, не имел права в силу какого-то установления остановиться и лил, не иссякая, до октября, когда ему надлежало превратиться в снегопад. Стрелки года завершали свой круг, из долгих сроков вычиталась одна костяшка, а белому коню казалось, что уже целую вечность он взирает на длинные нити дождя, струящегося из облаков. Бог весть, с каких пор он идет-плетется по разбитому ступняку, среди тусклой равнины, проваливается в грязь, вылезает – и все тащит за собой двойную, соединенную цепью крест-накрест вагонку. На вагонке стоял ящик. Экипаж катился, поскрипывая, по еловым лежням, и, когда подъезжали к яме поглубже, конь становился копытами на скользкие лежни, словно выполнял сложный цирковой номер. Некому было аплодировать! И таким способом, вытянув шею, работая лопатками, перебирался мелкими шажками над бездной, волоча вагонку. Дождь желтыми ручьями, как по желобам, стекал у него между ребрами, капал с челки и длинной, похожей на старые водоросли гривы. В ящике, за высокими бортами, раскачивался мокрый картуз Корзубого. Из конюхов он тоже был переведен в обслугу.

Следом за ними тащились под дождем еще две подводы. Когда подъехали к складу, длинному навесу, наспех построенному между рыжими холмами опилок – здесь прежде была пилорама, – когда загрузили все три ящика доверху осклизлыми, черно-желтыми кочанами капусты, расписались на фанерке у бесконвойного сторожа и перепрыгли лошадей, то есть отцепили оглобли от передних крюков, перевели коней назад и снова прицепили, то уже начало смеркаться. Теперь вагонка Корзубого оказалась последней.

Решили напоследок погреться у костра. Сторож жил возле навеса, в какой-то щели из досок; здесь был расстелен его отсыревший тулуп. Целые дни он проводил в одиночестве, отдыхал вволю, а в зону являлся только за сухим пайком. Все кругом, казалось, пропиталось водой, все протекало и хлюпало, но зато – не работать!.. Квартал был пустынный, заброшенный с тех пор, как в нем не осталось больше ни одного дерева, и не верилось, что полгода назад на месте желтой, залитой водою равнины стояла лесная чаща, темная, как ночь. Остались только потемневшие от сырости холмы опилок, разбросанные повсюду щепки и чурбаки, клетка штабелей, утонувшие в болоте, и пни, пни до горизонта; да еще проваливавшаяся насыпь от узкоколейки, по которой укатило все это лесное царство, а взамен него, в уплату, привезли сюда черную капусту.

...И они упали, эти деревья-гиганты, но не так, как падали их предки, помнившие Сусанина, и прапрапредки, которым летевшие с юга птицы, усталые и возбужденные, рассказывали, как с восхода, из Азии – они видели – поднялась туча пыли, оранжевые облака закрыли небо, и тогда услышали донесшийся из желтой тьмы глухой дробный топот – это неслась конница татар.

Нет, они упали не от старости, как те, кто раньше рос на их месте, и не для того, чтобы уступить его молодым, – а рушились одно за другим, валились, круша подлесок, под зычные возгласы повальщиков на родные мхи, откуда два века назад они поднялись тонкими стебельками у подножья отцов. И сейчас же люди обступали их со всех сторон: обрубщики рубили им руки, раскряжевщики пилили на части их тела, сучкожоги стаскивали в кучу и жгли их богатый убор. А там уже навальщики, покрякивая, катили смолистые бревна по гнущимся от тяжести каткам, которые каждый раз подпрыгивали, когда балан валился на повозку. И лошадь вздрагивала и поворачивала голову каждый раз. А там маркировщики метили дре-

весину черной краской по торцу, контролеры отбивали баланы молотками, и перепачканные смолой укатчики накатывали их в штабеля, высокие, как дома; ночью, в сиянии прожекторов, грузчики, хрипло вскрикивая, грузили их на платформы и в полувагоны. Из паровозной будки выглядывал бесконвойный машинист, и бесконвойный стрелочник переводил стрелку. Лес уезжал – на волю, как думали люди.

Лес предназначался для шахт и оставался там, под землей, исчезал весь, сколько бы его ни привозили. Но и под землей смолистый непобедимый дух был так силен и опьяняющ, что тамошним заключенным казалось – дерево пахнет волей. А другие составы направлялись на север. Здесь все: и железная дорога, и порт, и город, раскинувшийся вокруг, – было построено заключенными, и у тех, кто грузил лес в трюмы, были тоже вместо паспортов формуляры. И для них эти литые, круглые, желтые, как масло, брёвна пахли не потом человеческим, даровым, не Указом и Пятьдесят восьмой, а зеленой чащей, соком земли – волей. И пароходы, уходящие за море, приветствуя родину прощальными гудками, увозили запах воли в чужие страны.

Дождь, как старческая слеза, сочился с неба, но Корзубый, сидевший на кочанах, знал твердо, что не следует торопиться, иначе погонят еще в один рейс. Он отстал от передних подвод – хоть и те не спешили – и под конец вовсе потерял их из виду, так что когда впереди показались в мутных пеленах дождя какие-то дроги, он понял, что передние уже успели миновать стрелку – единственное место, где можно было разехаться встречным. «Подождать не мог, сука», – выругался Корзубый. Встречный экипаж оказался бочкой, и человек, стоявший на передке с вожжами, был известный всему лагпункту усатый дед, или Ус, как называли кратко тех, у кого хватало терпения возделывать под носом у себя эту растительность. Грязная, пахнущая его специальностью куртка старика, брюки, стоявшие колом, и выставленные вперед руки с вожжами, такие же черные, как длинная ручка ковша, торчавшая за его спиной из бочки, – все это, неумолимо приближаясь, двигалось навстречу белому коню как бы само собой, собственной силой, подталкивая перед собою некое существо с кривыми дрожащими ногами и нелепо висевшей между ними большой головой – чахлого и облезлого одра, навсегда, казалось, утратившего интерес к жизни. Белый конь, моргая, с трудом узнал в нем конька-монгола, такого бойкого и задиристого в эпоху их первого знакомства. Теперешняя их встреча была подобна встрече на канате: одноколейная лежневка была единственной твердой почвой посреди широкой и мертвой равнины с торчащими из воды пнями. Лошади остановились, возчики спрыгнули в грязь и стали кричать и махать руками.

С высоты своего роста белый конь с болезненным участием смотрел на товарища. Тому все было безразлично. С полузакрытыми глазами, точно спящий, он сошел с лежневки – старик тащил его под уздцы – и поплелся, бессильно переставляя ноги, между кочками. Следом тележка нехотя соскочила с жердей, бочка качнулась, плеснув коричневой жижей, нырнула вбок и съехала в трясины; ковш гремел и болтался в ней, как ложка в стакане. «Пошел!» – Корзубый тронул своего коня. Конь шагнул вперед и остановился: ящик с капустой зацепился углом за бочку. Пока, отцепив оглобли, переводили громадного коня назад, цепляли и оттаскивали обратно вагонку, пока перецепляли снова и, погружаясь башмаками в грязь, кряхтя, поднимали соскочившие с жердей стальные катушки колес, пока бранились и пререкались, прошло не меньше часа.

Корзубый, уезжавший, свесив ноги с ящика, быстро потерял из виду бочку и ассенизатора, хлопотавшего возле своего оцепенелого коняги, тщетно понукая его так и эдак втащить тележку обратно на лежни. Все затянуло паутиной дождя.

Белый конь шагал в глубокой задумчивости, привычно глядя себе под ноги, хотя помнил наизусть все ловушки – топкие места и покрытые водой ямы. С той

поры как пошли дожди, дорога разрушалась с каждым днем. С досадой вспоминал он о далеких временах, когда глаза его одинаково зорко видели днем и ночью. Несколько раз он споткнулся, вызвав неудовольствие седока, а один раз даже увяз копытом в расщелине между ступняком и шпалой – толстой плахой, к которой приколочены были лежни. Оба – конь и возчик – мечтали только о том, как бы скорей добраться.

Он дошел до стрелки, той самой, где усатый Ус разминулся сколько-то времени тому назад с передними возами. Сейчас ее едва можно было различить в густеющих сумерках. Возчики, должно быть, уже давно доехали до лагпункта. Задремавший под равномерное чавканье копыт Корзубый пробудился и заорал сверху. Конь не двигался, и, свесившись с ящика, Корзубый разглядел, что стрелка не то что не переведена, а разрушена вовсе: одна лежня, измочаленная, валяется в стороне, другой совсем нет. Он спрыгнул и полез вокруг, ища недостающую лежню, не сумев выдернуть ее из топи и вместо неё положил какую-то другую жердь; сморщился, харкнул команду – конь недоверчиво покосился и тронул копытом дно. Помедлив, тронулся; в ту же минуту раздался треск, тонкая жердь сломалась. Ящик сразу осел одним боком. Белый конь стоял по колено в воде, раздумывая, попробовать ли ему протащить вагонку вперед в расчете, что она проскользнет по обломкам на крепкую лежню, или обождать, пока Корзубый что-нибудь придумает. Корзубый придумал: он притащил полено, сопя, стал подсовывать под увязшее колесо. Он долго возился там, поругиваясь вполголоса, наконец, выпрямился и, не спуская глаз с утонувшего колеса, тронул вожжи. Конь нажал грудью. Колесо показалось из воды, стало налезать на полено, сейчас же полено ушло вглубь, за ним колесо, беззвучно, как рыба в воду. «Сука, хад!» – выкрикнул Корзубый. Он бросился подкладывать обломки ступняка, колья и коряги под тонущие колеса. Белый конь стоял, погрузившись всеми четырьмя ногами в трясину, оглобли и дуга вздыбились над ним, хомут, туго засупоненный, давил ему снизу на шею. В полутьме сквозь нити дождя смутно белел его огромный круп, ящик, казавшийся длиннее и выше, темнел, как катафалк. Слышалось озабоченное шмыганье Корзубого и захлебывающееся чавканье его башмаков. Он отцепил оглобли, конь, с трудом вытаскивая ноги, выбрался из трясины, и вдвоем они отправились вокруг по кочкам, путаясь в вожжах и волоча оглобли, – в обход воза, тянуть его задним ходом. Не тут-то было. Белый конь хоть и стоял теперь на прочном, более или менее, ступняке, но стоило только дернуть, как передние колеса, увязшие первыми, вместо того чтобы вылезти, опустились еще глубже, увлекая за собой опорную крестовину под ящиком; идея Корзубого вытянуть сзади была ошибкой; ящик накренился, как гибнущий корабль, вилки капусты посыпались в грязь. Корзубый плюнул, сошел с лежневки; качаясь и растопырив руки, добрался до ящика, отцепил правую оглоблю. «Давай, давай, ну!» – приговаривал он, упершись руками в мокрое бедро коня и стараясь столкнуть его вбок. Белый конь, недоумевая, сошел с дороги. Тотчас ноги его ушли в топь. Он, наконец, догадался: Корзубый хотел вытащить правые колеса за левую оглоблю, но и это было ошибкой. Конь понимал, что это ошибка. Но люди никогда не считались с его мнением. «Но!» – скомандовал Корзубый. «Н-но, х-хад, подлечий потрох!» – озлившись, крикнул он медлившему коню, и пришлось подчиниться: он дернул, и случилось то, чего он опасался. Колеса поднялись на мгновение из воды, воз качнулся и сейчас же, громыхнув, осел другим углом – соскочили левые колеса. Теперь катафалк медленно опускался, погружаясь в трясину всеми колесами.

Было слышно, как шелестит дождь. Конь стоял неподвижно в грязи. Корзубый, сидя на мокрой лежне, плакал. Корзубый поднял голову. Он поглядел на светлую полосу над горизонтом, но у него уже не было надежды: старик, если бы он возвращался этой дорогой, был бы давно здесь. Старика не было. Старик поехал на кладбище опорожнять свою бочку: туда, где среди желтых луж торчат колья с до-

щечками, много кольев – до самого края. На каждой дощечке чернильным карандашом номер формуляра. Номера расплылись, и колья покосились в разные стороны. И тяжкое зловоние над всем полем... Время позднее. Он давно уже вернулся по другой дороге, если сам не потонул. Бросил его усатый старик. А сам Корзубый разве не бросил тогда старика одного – а ведь тот уступил ему дорогу. Вот так везде и всюду, везде и всюду закон один: ни на кого не надейся. Не жди добра ни от кого. Кому ты нужен?..

Послышался всплеск – сосущий, хлопнувший звук, как будто вытащили руку из теста: это конь, озябнув, переступил онемевшими ногами. Потом, трясая гривой и фыркая, боком, с усилием выбрался из болота и стал на лежневку. Одна оглобля осталась неприцепленной.

И тогда Корзубый медленно поднял глаза. В темноте они встретились с другими глазами. Взгляд коня был глубокий, влажный. Во тьме глазниц он как будто мерцал и светился; конь смотрел на него, словно собрался, наконец, сказать ему свою длинную, страстную речь, и Корзубому стало не по себе. Но это длилось недолго. Ярость охватила его, внезапно и целиком, как огонь охватывает солому: он увидел своего врага, виновника всех несчастий. Он затрясся, подскочив к коню, пнул его ногой, схватил конец оглобли, лежавшей на земле, зацепил его за крюк, прыгнул с лежневки, с необыкновенной силой выхватил откуда-то из-под низу рогатую, чудовищной толщины корягу и стал с размаху рубить по чему попало – по крупу, по холке, по вскидывающейся ошалелой морде, пока не изломал и не искрошил свою дубину. Обломки рогов полетели в грязь. Колеса выпахали трясины, так что она превратилась в бездонную чашу, до краев полную черной жижей, – вся передняя часть похоронной колесницы ушла туда. В темноте раздавалось тяжелое дыхание человека. Белый конь, облитый жарким потом, не чувствовал дождя. Глаза его, вылезшие из орбит, медленно моргали. Из раскрытого рта вывалился язык. «Ну и хуй с тобой, – пробормотал Корзубый, – околевай, сволочь...» Он повернулся и, пошатываясь, побрел прочь, мимо ящика и едва белеющих разбросанных и разбитых вилок капусты. Конь остался стоять, опустив голову; дождь шелестел, не усиливаясь и не убывая.

Он почуял человека. Открыл глаза: Корзубый держал его под уздцы. Оглобли были отцеплены. Вдвоем, увязая в болоте, они обогнули ящик, взобрались спереди на лежневку. Они оказались слишком впереди, пришлось пятиться. Задние ноги коня опустились в трясины. Он не обращал внимания. Другого выхода не было: надо было браться и тянуть – в десятый, в пятидесятый раз собираться с силами и тянуть вперед. Впереди была лежневка, твердая земля.

Однако зацепить оглобли за передние крюки оказалось непростым делом. Все утонуло в грязи, ящик съехал вперед, закрыв собой колеса, – не на что встать. Корзубый погрузился по пояс в холодное месиво. Он нащупал в глубине крюк, другой рукой он тянул к себе оглоблю, и конь, в грязи по самые заплюсны, осторожно переступал ногами, чтобы не примять маленького человека, копошащегося под самым его хвостом. Корзубый прицепил сначала одну, затем другую оглоблю и вылез. Грязь стекала с него, как варенье.

«Ну», – просипел он.

Гигантское костлявое тело зашевелилось в оглоблях. Конь пригнул шею, задвигал крупом, ища опоры задним ногам.

«...давай, давай», – шептал Корзубый, точно молился.

И конь надал. Он нажал грудью, выгнув шею и уставившись в одну точку мерцающими в темноте глазами. Ящик вздрогнул, но сейчас же ноги коня стали уходить еще глубже. Он отпустил, переждал с полминуты, не больше, переступил где-то там, на зыбком дне. Вновь набрал полную грудь воздуха – и нажал. Внутри у него, он чувствовал, звенела и дрожала высокая струна. Он отпустил, тяжело дыша. Рядом тяжело дышал Корзубый. Потом губы его снова зашевелились. Но белый

конь не стал нажимать еще раз. Вместо этого он неожиданно весь ослабел, обмяк, голова начала опускаться, отвисли губы – вот-вот упадет, – и вдруг, широко раскрыв сверкнувшие глаза, он бросился вперед. Он хотел застать злую силу врасплох.

Но она была начеку.

Ах, вот как, подумал конь. Он снова прыгнул, разбрызгивая грязь, и сразу порвал все струны. Мысли погасли. Какие-то птицы с красными клювами пронеслись перед глазами.

Он прыгнул. И потом опять прыгнул. И еще раз рванулся. А потом покачался и снова ринулся вперед, как зверь. Упал, опять поднялся.

«Стой! Стой!» – кричал ему возчик.

Огромное тело билось, вздымая фонтаны грязи, и все глубже уходило в трясиину, путаясь в упряжи, увлекая за собой сломанные оглобли. Остановившимися глазами, пятясь и отступая в болото, Корзубый глядел на торчавшую из черной бездны гигантскую голову с хомутом, налезшим на глаза, которая все еще рвалась вверх и кусала воздух оскаленными зубами.

Он заметил, что это были вожжи. Вожжи, которые он не догадался отцепить, и теперь они запутались за передние ноги и тянули вниз захлебывающуюся голову. Суки! ебанные в рот!.. Он весь вытянулся, стараясь дотянуться до кольца, до хрипящей пасти. Да нет, куда там. Надо лезть туда, к нему, и там вместе с ним. Это удалось ему после долгой борьбы, но, когда, почувствовав, что ноги неожиданно освободились, обессилевший конь, не веря сам в свое спасение, стал выбираться из топи, он задел впотьмах, в черной каше, копытом что-то мягкое и подвижное, копошившееся вместе с ним.

Он и потом не верил и не понимал, как это могло случиться, когда стоял, весь облепленный грязью и полуослепший, в изумлении и горе уставясь на черную пропасть, где исчез Корзубый.

Он стоял, возвышаясь на темном небе, и все ждал, не покажется ли оттуда знакомый рваный картуз. Но хозяин ушел, ушел навсегда, и он не мог последовать за ним, потому, должно быть, что сам он был бессмертен, хоть и не знал этого. Дождь перестал, и запах звезд, тонкий, неуловимый, коснулся его ноздрей. Конь заржал, но никто не услышал его плач. Черным видением приблизился и встал над болотами лагерь, и на вышках зажглись прожектора.

1965

ИЗБРАННИК

L'expérience intérieur de l'érotisme demande de celui qui la fait une sensibilité non moins grande à l'angoisse fondant l'interdit, qu'au désir menant à l'etreindre. C'est la sensibilité religieuse, qui lit toujours étroitement le désir et l'effroi, le plaisir intense et l'angoisse.

G. Bataille. L'érotisme.¹

Невиданное буйство малины

Возможно, мне следовало придумать другой заголовок. Но так началась эта дикая история: выйдя из леса, я остановился; право же, ничего подобного я никог-

¹ Внутренний опыт эротики развивает у того, кто этот опыт проделал, такую степень чувствительности к страху перед запретным, которая не уступает самому вожделению. Эта чувствительность носит религиозный характер и всегда тесно связывает желание и ужас, наслаждение и страх. Жорж Батай. *L'érotisme*. (франц.).

да не видел. На всём пространстве вокруг, вперемежку с высокой, по грудь, крапивою, буйно разросшийся кустарник был весь осыпан спелыми, синюшно-альными ягодами, ветки, отягчённые гроздьями, касались земли и покачивались высоко над головой, незаметно для самого себя я погрузился в эту чашу, рвал обоими руками, ел пригоршнями, жадно глотал сладкий сок, и уж не знаю, сколько времени прошло, прежде чем понял, что не в силах больше взять в рот ни одной ягодки. Кое-как выбрался, почёсывая обожжённые руки, побрёл по сухой, усыпанной иглами тропе между соснами домой, в деревню. Но прошло полчаса и, должно быть, ещё столько же, я шёл и шёл, и не видно было просвета. Давно уже сосняк уступил место тёмным разлапистым елям; всё угрюмей становился лес, кое-где под ногами хлюпала вода, временами я терял тропинку, возвращался, шёл дальше, небеса между верхушками деревьев начали тускнеть, я вышел на поляну, заросшую высокой жёсткой травой, и уселся на обомшелый пенёк. И тут послышались голоса. Вернее, говорил один голос, с характерными для здешних краёв певучими интонациями. Показались две женщины с бидонами и лукошками, старая и молодая.

«Давайте, помогу», – сказал я, беря у старухи бидон, полный ягод.

Она спросила:

«А как твоя деревня-то называется?»

«Большие Олени».

«Эва! куда ж ты забрёл».

Я старался приноровиться к её спорному шагу, девушка попевала следом. Всю дорогу она не проронила ни слова, но её молчание вплеталось в разговор; хотя, быть может, так мне кажется теперь задним числом.

«В гостях, что ль? Али дела какие?»

Я отвечал, что никаких дел у меня нет, хочу побыть недельки две-три.

«А у кого стоишь?»

«Друзья пригласили, у них тут дом».

«Пригласили, а самих нет?» Стало ясно, что она и так всё знает, расспросы предписывал ритуал сельской учтивости. Изба была куплена за ничтожную плату несколько лет назад, до этого пустовала. На мой вопрос, кому дом принадлежал раньше, старуха коротко ответила: «А никому».

Я спросил: «Это ваша внучка?»

Собственно, она не была старухой, а находилась в том неопределённом возрасте, в который женщины в северных деревнях вступают лет с тридцати, тридцати пяти, чтобы потом уже не меняться многие десятилетия.

«Какая внучка, сирота. Живёт у меня».

Вышли на просёлок, следы колёс превратились в наезженные колеи. Лес расступился. Огромное сине-серебряное небо распахнулось, стало зябко, высоко в пустыне неба виднелся маленький белёсый серп луны. Впереди Большие Олени горели оранжевым огнём, и так же, думал я, пожар заката заливал окна хижин – должно быть, это были не стёкла, а бычьи пузыри, – во времена, когда косматые узкоглазые всадники налетели на деревню и запылал настоящий пожар, и мужики с бабами и детьми укрылись в тайге и повстречали трёх златорогих оленей, и когда здешние пустынножители не признали никоновых реформ и исправления древних книг, и не велели креститься тремя перстами, и когда солдаты в петровских треуголках явились и приказали под страхом смерти выдать беглопоповских скитян.

Сёстры

Кто-то прохаживался под окнами моего дома, стукнул в окошко раз и ещё раз. Я вскочил с моего ложа, вышел на крыльцо, шурясь от яркого солнца, – никого кругом. Шлёпая босыми ногами, я прошёл через сени в огород, где у меня была

устроена умывальня, голый, дрожа и фыркающая, облился водой из ведра. Вернулся – на крыльце стояла крынка, прикрытая чистым серым полотенцем. Закусив чем Бог послал, напившись парного молока, я отправился прогуляться.

Дом стоял на отшибе. Некогда поселение было, наверное, многолюдным, соответственно своему названию. Теперь полтора десятка изб на высоких, по-северному, подклетьях, стояло вдоль единственной улицы. Солнце поблескивало в маленьких окошках. По-прежнему не видно было ни души. Не слышно ни пения петухов, ни поскрипывания валика на колодце. За деревней на угорье находился погост, семейство ветхих крестов, плоских замшелых камней. Я успел потерять счёт дням недели, кажется, было воскресенье. Как-то так получилось, что ноги сами подвели меня к дому Манефы.

Окна были закрыты ставнями. Я вошёл, не стучась, в сени, дёрнул за ручку, тяжёлая дверь подалась. Держа в руках свою обувь, я переступил через высокий порог. Это была просторная, чисто приборанная, усталая половиками горница в три окна. Свет бил сквозь щели ставен. Стол покрыт скатертью из серого холста с красной вышивкой по краям, вокруг лавки и табуретки, в красном углу большой тёмный образ, висячая лампадка и маленький аналой с иконками поменьше. Хозяйка хлопотала за перегородкой.

Изба стала заполняться народом. Женщины в белых платочках входили, оставив в сенях обувь, в толстых вязаных носках, длинных сборчатых юбках и парадных кофтах, молча кланялись и крестились на иконы, чинно рассаживались. Все казались одного возраста, не молодые и не старые, с мягкими лицами, с поджатыми губами. Никто не смотрел на меня. Похоже было, что я единственный мужчина в этой компании. Но под конец ввели под руки ветхого старца, лысого, с бородёнкой, в белой рубахе и полосатых портах. Наступила тишина. Все сидели, неподвижно глядя перед собой.

В комнату вступила Манефа, неся в обеих руках большой медный шандал, и следом за ней та самая девушка по имени Феня, которую я принял в лесу за Манефину внучку. Трёхсвечник был водружён посреди стола между графинами с красной наливкой и тарелками со снедью. Старушонка в чёрном платке зажгла свечи. Феня с подносом приблизилась к старцу. Он держал дрожащей рукой рюмку, выпил сидя, соседка, чёрная старушка, утёрла ему рот. После чего Феня обошла сидящих, а те, кто сидел у стены, передавали поднос друг дружке. Каждая вставала, дважды крестилась двумя пальцами, истово осушала рюмку, опускала, стараясь не греметь, монеты на тарелку. Всё совершалось в молчании. Дошла очередь до меня. Я смотрел на Феню. Она стояла, прямая и неподвижная, опустил глаза, мерно дышала её грудь. Густой белёсый напиток отдавал чем-то. Я положил на тарелку десятирублёвую бумажку. Видимо, это было не в обычае – слишком много; женщины опустили глаза. В комнате было сумрачно, лепестки огня на столе едва шевелились, слабые отсветы играли в графинах, в гранёных рюмках из толстого стекла, на жестяном окладе и нимбе выступившей из тьмы Богородицы. Иконописец представил её без младенца, с поднятой ладонью как бы предупреждающе.

Манефа сидела рядом со старцем и услужавшей старухой, во главе стола. Нацепив железные очки, читала вслух из толстой, поеденной временем книги. Питьё, которым Феня обносила женщин, видимо, подействовало на меня: я плохо понимал, где я нахожусь, мерный голос Манефы доносился до меня, я различал отдельные слова, но не мог уловить связи; впрочем, и сама чтита, возможно, не понимала смысла прочитанного, загадочный текст должен был оставаться тёмным по принятому здесь уставу или обряду. Язык был архаический, на таком языке мог бы изъясняться протопоп Аввакум.

Мне стало дурно, сколько-то времени я провёл на воле, сидя на ступеньках крыльца, – как я думал, совсем недолго, – но вернувшись, увидел, что радение

окончилось. Остатки кушаний лежали на тарелках, в графинах поубавилось; размянвившиеся крестьянки, иные со сбитыми на затылок платочками, пели, подперев щёки ладонями, полузакрыв глаза, и казалось, что пиршественный стол раскачивался, словно корабль. Я старался подпевать, но не знал слов.

Одна за другой выходили из-за стола, расправляли юбки, озабоченно крестились, торопливо причёсывались гнутыми гребешками, встряхивали и повязывали платки, подтягивали кончики под подбородком, прятали выбившиеся пряди. Осторожно подняли старца, лежавшего в стороне на лавке. Хозяйка задула оплывшие свечи. Опустевшая, сумрачная комната казалась меньше, потолок ниже. Посуда была убрана со стола. Я всё ещё сидел на своём месте.

Почему, спросил я, показывая на икону, Богородица одна, без младенца.

Манефа вышла из кухни, села против меня.

«Так надо».

Я вспомнил, где-то читал, что в некоторых культах центральное божество может быть женского рода, хотел было снова о чём-то спросить. Манефа позвала:

«Аграфена! Граня!.. Ну да, – сказала она, заметив мой удивлённый взгляд. – Её то Граней, то Феней кличут».

Девушка выглянула из-за перегородки.

«Ты бы пошла, отворила».

Феня удалилась, мы услышали шаги под окнами, ставни распахнулись, в горницу пролился солнечный свет.

Я продолжал расспрашивать.

«А где же ваш священник?»

«Поп, что ль? Нет у нас никаких попов, мы беспоповцы. – Она поглядела на меня. – И чего это я тебе всё рассказываю. Небось уедешь, донесёшь на нас».

«Кому же это я донесу?»

«Слугам дьяволовым».

«Кто-нибудь сюда приезжал?»

«Были двое, вынюхивали. Напоила их, они и уехали. Я сперва подумала, что и ты тоже».

«Что – тоже?»

«Из ихних!»

«Разве я похож?»

«Кто тебя знает. Они как оборотни. Кем хочешь прикинутся. Нет, – сказала она, – не похож».

«Послушай, Манефа, – проговорил я, – а что это было в рюмках... на подносе?»

Она усмехнулась: «Понравилось?»

«Да как тебе сказать».

«То-то я вижу, ты даже не заметил, что пьёшь. Всё на Граню глядел...»

Я пожал плечами. Она вздохнула.

«Лучше я тебе сразу скажу. Вот что, друг милый. Ходить к нам ходи, всегда тебе рады. Может, и поучишься кой-чему. А на неё нечего заглядываться. Ничего у тебя не получится. Понял?»

«Да с чего ты это взяла?»

Я был удивлён или сделал вид, что удивлён.

«Ты мне зубы не заговаривай, что ж я, слепая, что ли... А я тебе прямо говорю. Выбрось из головы. Она затворённая».

«Как это?»

«А вот так».

Я почувствовал, что мне пора идти, поднялся было, она усадила меня.

«Дьявол, он ведь не дремлет. Мужиков, сам видел, у нас совсем нет; а ты ещё молодой. Хочешь пожить у нас, живи, может, и польза какая будет. А если уж совсем невтерпёж, я тебе бабу подыщу. По соседству... На наших чтобы ни-ни! Да

они и сами тебе не дадут... Мы тут все сёстры. Сёстры Марии, слышал про таких? Вот ты спрашивал, – продолжала она, – что тебе испить поднесли. Что другим поднесли, то и тебе. Пречистой Девы млеко».

«Что?»

«Молоко. Из её груди».

Я понял (так поступают психиатры), что продолжать беседу можно, лишь следуя логике собеседницы. Выходит, сказал я, у неё всё-таки был ребёнок.

«Вестимо. Кабы не родила, и молока бы не было».

А как, осторожно спросил я, насчёт непорочного зачатия?

«Какое там непорочное... сказки всё это. Как это может быть, чтобы без мужика. Без семени его... Случился грех, что ж она, не баба, что ли. И зачала, и родила. И разверзлись ложесна, и затворились. И вновь стала девицей».

«Почему же тогда... без младенца».

«Ты про икону, что ль?.. Почему, почему. Потому! Исус – он не наш Бог. Он для мужиков».

Она наклонилась ко мне и прошептала:

«Он с дьяволом в сговоре. Пошёл, пошёл!» – и замахала руками. Я вышел.

Феврония

Я только что проснулся, лежал на кровати, когда она постучалась ко мне; дело происходило неделю спустя.

«Что-то не видно тебя. Приболел, что ли? Вот, молочка тебе принесла, хлебца свежего. Только испекла...»

Мы поговорили о том, о сём; я сказал:

«А ты, Манефа, как в воду глядела. Они к тебе не заходили?»

Она уселась на табуретку и распустила платок.

«Фу, упарилась. Лето жаркое, уж и не помню, когда такое было. Может, и заходили. Мы в лес ушли. По малину».

Она добавила:

«Ты смотри, сам туда не ходи. Неровен час, уйдёшь и не вернёшься».

Что же такого опасного в этих местах, хотел я спросить. Но мне не терпелось задать другой вопрос.

«Ты что же, заранее знала, что они явятся?»

«Знать не знала, а чуюла. Ты смотри! – подняв палец. – Ты чего им сказал?»

Ничего не сказал. Накануне остановился перед домом «газик», вроде тех, в которых ездят председатели колхозов. Здесь, в лесах, никакого колхоза не было, разве только числилось что-то для успокоения начальства. Здесь вообще был другой век.

«Кто приехал-то?» – спросила Манефа, хотя скорее всего ей и так всё было известно. Вылезли двое в штатском, так называемые сотрудники, с характерными невыразительными лицами воинов славного ведомства. Спрашивали, откуда я, зачем приехал, проверили документы. Потом спросили, где живёт Савелий.

«А ты что?»

«Сказал, что понятия не имею, кто такой Савелий».

Один из них оглядывал моё жильё, другой вперился в окошко. Немного погодя заурчал мотор; укатили.

«Ну и пусть ищут, – сказала Манефа. – Он давно помер».

Я не нашёлся ей возразить, не решаюсь и сейчас сопроводить какими-либо комментариями её слова.

Старец Савелий приплыл в челне лет сорок тому назад и построил себе дом на острове, а был он в то время рослый, чёрнокудрявый и чернородый мужчина; никто не знал, откуда он родом. Слух о нём разошёлся вокруг, женщины, старые

и молодые, зачастили к нему, шли разговоры о необычайной магической силе, исходившей от него, для многих он был мужем. Дьявол возликовал и послал слуг своих унести его в своё царство. Двадцать лет провёл там старец Савелий, претерпев муки, и выжил, и одолел дьявола. Лагерный хирург вырезал ему мошонку. И вышел на волю очищенный. После чего проповедовал в селениях за Мезенью и Белым Лухом, жил в лесу и умер в Больших Оленях, окружённый Фаворским светом.

Я выслушал эту галиматью, не моргнув глазом. Сказывали, продолжала Манефа, что дьявол прилетал ночами и садился на могилу в образе молодой полногрудой бабёнки. И так продолжалось до тех пор, пока старец однажды не восстал из гроба и прогнал нечистого. С той поры он приходит время от времени наставлять сестёр. Вот как и давеча, добавила она.

Сколько-то дней я не видел Манефу, никого не встречал, пока однажды под вечер, возвращаясь с прогулки, не заметил издали её сидящей на ступеньках моего дома. К удивлению моему, оказалось, что это не она. Был ли, однако, этот визит такой уж неожиданностью? И, хотя Манефа говорила что-то насчёт того, что подыщет кого-нибудь не из «наших», мне показалось, что гостя была тогда среди сестёр, беспрекословно подчинявшихся хозяйке. Следом за мной она вступила в дом.

Простоволосая, с подоткнутым подолом, шлёпая босыми ногами с крепкими белыми икрами, она мыла пол в избе, выжимала тряпку, выливала грязное ведро в огороде, развесила выстиранное бельё, перетряхнула постель, перемыла грязную посуду. Я сидел за столом, делая вид, что читаю, а на самом деле исподтишка следил за ней. Это была рослая, румяная и черноволосая баба на вид лет тридцати пяти, но, как я уже сказал, внешность деревенских женщин обманчива.

Стемнело, она привела себя в порядок. Поглядывая в исцарапанное зеркало, скрутила волосы узлом, повязала чистый платочек, почистила и наполнила керосином тяжёлую, зелёного стекла лампу. Мы поужинали. Как положено, я расспрашивал её о том, о сём. Она была родом издалека, с Верхней Пижмы, семнадцати лет вышла замуж в Великие Олени, муж вскоре исчез, оставив её беременной, ребёнок умер. Несколько лет работала на лесозаготовках в низовье, вязалась там с бесконвойными; потом вернулась.

Удивительные у вас всех имена, сказал я, древнерусские какие-то. Она возразила: а мы и есть древние русские. Мне хотелось спросить, известно ли ей сказание о деве Февронии.

Ужин был окончен, Февронья собирала со стола. И было совершенно ясно, зачем она пожаловала ко мне.

«Ведь это Манефа прислала тебя?» – сказал я.

Она остановилась.

«Ты, милоч, вот что. Ты не думай, что вот, дескать, баба изголодалась по мужику. У нас, сам знаешь, порядок строгий».

«Что ты, – забормотал я. Думаю, по лицу моему было видно, что я говорю неправду. – Что ты, Феня... я и не думал...»

Опять Феня. Это имя меня преследовало.

«Вишь, – она оглядела избу, – живёшь тут, а нет чтобы как люди. Грязью по уши зарос. Где у тебя образа-то, небось выкинул?»

Она отправилась в кладовку.

«Эта нам не подходит... эту тоже не надо», – говорила она, сидя на лавке, вытирая закопчённые, словно выступившие из мрака лики икон. Выбрав, наконец, подвесила в углу.

Я заметил: «Богородица-то у тебя с младенцем».

«Ну и что».

«Вроде бы у вас не положено».

«Чего болтаешь», – сказала она строго.

Наступило молчание, она разбирала постель.

«Что ж, по-твоему, не женщина она, что ли? И в книгах так написано: родила непорочная Дева от Духа Святаго».

«Манефа мне по-другому говорила».

«Манефа, Манефа... чего заладил. Ладно, – сказала она, – время позднее, а мне завтра рано корову выгонять. Чего стоишь, разоблачайся. Али передумал? Дай взгляну на тебя. Какой ты есть».

Она сидела на кровати, закинув руки с голыми локтями, вынимала шпильки из волос. Её груди стояли под рубашкой, отороченной грубыми кружевами. Она усмехнулась.

«Может, и ты мне ребялёнка сделаешь».

«Феня, – сказал я. – Но я ведь не Святой Дух».

«Вот именно, что не святой. Экая мошна у тебя, сосуд диавольский. Вот он, нечистый-то, где сидит. Ф-фу, ффу!»

Она склонилась почти вплотную ко мне и дула изо всех сил, надув щёки.

«Нуко-сь, просыпайся, соколик...»

Низким голосом, почти басом:

«Просыпайся... поднимайся...»

Это напоминало какое-то волхование. Её глаза расширились, превратились из тёмно-карих в чёрные.

«Ступай в гнездо! Ступай в гнездо!..»

«Ты сама дьявол», – пробормотал я. Несколько раз она вскрикнула. Огонёк едва теплился на столе. Где-то далеко ухала выпь. Засыпая, я слышал, как она шептала:

«Коли нравится, зови меня Феней. А на нашу Феню глаза не разевай. Дьявол нашепчет, а ты не слушай. Я твой огонь затушу, и позабудешь. Как почнёт тебя донимать, так и затушу...»

Савелий. За цифирём

Птицы перекликались, давно уже рассвело, я старался расшевелить мою гостью, спавшую мёртвым сном, но никакой гостью уже не было, свежий и умытый, я брёл по лесной тропинке и ничему больше не удивлялся. Избушка, едва ли не на курьих ножках, под двускатной крышей, откуда торчала железная труба, с единственным, мертвенно отсвечивающим оконцем, стояла над оврагом. На кольях висели крынки, от крыльца была протянута верёвка и сушились порты и рубахи, внизу блестел ручей. Никто не отозвался на мой стук.

В полутьме старец Савелий лежал на лавке под бараньим тулупом, кверху торчала его бородёнка. Стоял грубо сколоченный стол на двух крестовинах, в углу помещалась железная печка с коленчатой трубой на проволочных подвесках.

«Папаша! – сказал я. – Жив?»

После некоторого молчания дребезжащий голос откликнулся:

«Живём».

«Слава Богу, а я уж было подумал...»

«Чего подумал?»

«Да ведь говорят, тебя давно уж нет».

Я сидел на табуретке и как будто разговаривал сам с собой.

«Может, это наваждение? Может быть, и ты – фантом, призрак, игра воображения?»

«Может, и так, – сказал голос из-под тулупа. – Помоги-ка мне, парень, сесть».

Я подхватил старика под мышки, и мы уселись рядом на скамье. Я покрыл ему ноги тулупом.

«Долго искал меня?»

Я подумал, что он говорит о лесной избушке.

«Ищешь, говорю. Небось не один год?»

«Почему ты так думаешь, отец?»

«Я не думаю, я знаю».

Он показал бородой на печурку, я вышел и вернулся с охапкой коротких, мелко наколотых дров. Щепы и газеты лежали за печкой.

Старик сбросил тулуп, сидел в подштанниках на своём ложе, ноги в коротких, с обрезанными голенищами валенках.

«Должно быть, скоро в самом деле помру», – сказал он.

За дверцей билось пламя. Там, где из ящика выходила труба, железо начало краснеть. Но тепла, как известно, эти печки не держат: вдруг становится жарко, и так же быстро, едва успеет прогореть, всё выстывает.

«Помру, говорю, а замены нет. Вот, может, ты?»

«Я? тебе замена?».

«Мне видение было. Будто приехал некто, вот вроде тебя, молодой, неженатый. Я у него спрашиваю: ты кто такой? Сам, говорит, не знаю. Зачем пожаловал? А он отвечает: взыску истины. Указание, стало быть, мне дано».

«Это интересно, – сказал я. – Но ведь ты меня совсем не знаешь. Вот Манефа даже решила, что я подослан – вынюхивать, что у вас тут творится».

«Чего с неё взять. Баба – она и есть баба. А ты вот мне скажи: ты вообще-то зачем сюда приехал?»

«Да так... ни за чем. Решил побыть одному, отдохнуть».

«От чего же это решил отдохнуть?»

«От суеты, от шума. От друзей, ну там, от женщин...»

«Баб небось любишь!»

Я пожал плечами. «Да не так чтобы... Как все, в общем. Одним словом, – сказал я, улыбаясь, – отдохнуть от жизни!»

«Вот! – возразил старец, подняв корявый палец с жёлтосерым ногтем, похожим на клюв. – Оно самое».

«Не понимаю».

«Чего тут понимать. Избран ты, голубь. И не противься».

Я сказал, что думаю пробыть ещё недельку, а там и двинусь.

«Куда это?»

«Домой. Хорошего понемножку!»

«Ну, это мы ещё посмотрим. Подбрось-ка дровишек».

«Скажи, дедушка... не знаю, как тебя величать...»

«Величать не надо, а называй как хочешь. У меня много имён... Милок, ты самовар ставить умеешь?»

Я извлёк из-под лавки старый продавленный самовар яйцевидной формы, должно быть, сработанный при царе Горохе, на львиных лапах. Старик давал указания. Самовар был вынесен на двор, наполнен водой, я запалил пучок лучинок, сунул в отверстие, насыпал сосновых шишек, насадил трубу. Несколько времени погодя мы сидели за дощатым столом перед почернелыми кружками и початой банкой с малиновым вареньем, нашлась и заварка, и пузатый фаянсовый чайник с отбитым носиком.

«Кто же это тебя снабжает?» – спросил я.

«Ты побольше, побольше, – сказал Савелий, следя за тем, как я накладываю чёрный, перепутанный, как дёрн, чай в заварной чайник. – А сёстры, слава Богу, не забывают. Вот так и живём. Господи благослови, – бормотал он, – Богородица святая, спаси и охрани от злого духа, от нечистого помышления...»

В другой раз я пришёл с кульком сахара, с пачкой индийского чая, мы снова сидели за столом в его хижине; меня тянуло поговорить со старцем.

Обжигаясь, он дул на кружку, грыз сахар, пил маленькими глотками чёрный напиток.

«Только вот им и держусь. Да ещё молитвой».

«Вот ты учишь женщин безбрачию, – начал я. – А ведь природа предназначила женщину для материнства».

«Угу. Да, да. Кхе, кхе!»

Я снова нацедил ему из чайника заварку, подлил кипятку.

«Бывало, в лагере по целой кружке выпивали, теперь не могу. Да... Природа природой, а Бог создал Адама и Еву без брака. Удержись они от греха, нашёлся бы и другой способ размножить род человеческий. Не девство уменьшает человеческий род, а грех и распутство».

«Но ведь род человеческий прекратится, если перестанут рожать».

«Слыхали мы эту песню. Прекратится там или не прекратится – об этом пускай Господь заботится. А надо укрощать в себе зверя».

«В Библии сказано, Бог создал человека по своему образу и подобию. Выходит, всё наше естество – от Бога?»

«Верно. Всё от Бога. Только не один Господь сотворил людей. Дьявол тоже приложил руку».

Сидя на корточках перед открытой дверцей, я швырял чурбаки в квадратную пасть, захлопнул, опустил задвижку. Наш теологический спор продолжался, я спросил, как же это надо понимать – приложил руку. Выходил, дьявол – вроде человека?

«А вот так и понимай. Бог дал человеку тело, и сердце, и внутренности, и всё что положено. Как у всякой твари».

«И половые органы?»

«Само собой: мужчине уд и яйца, женщине гнездо. Говорю тебе – как у всякого животного. Только человек-то ведь не животная тварь. Для того дал, чтобы искушаться и чтобы бороться. В самом себе дьявола побеждать. Однако не зря сказано: многие званы, да немногие призваны. Мало кому удаётся одолеть».

Я снова спросил: «По-твоему, дьявол – это живое существо?»

«Дьявольская сила разлита по всёму миру. Дьявол, он везде. И в человеке, и в каждой твари, и в тебе, и во мне... А кто он есть, зверь человекоподобный, дух бесплотный али эманация какая, никто этого не знает. А ещё есть такое мнение, что-де особые лучи».

Я воззрился на старца.

«Оттуда, – сказал он и показал на потолок. – От чёрных планет. Тут ещё много тайн. Не нашего ума дело; как хочешь, так себе и воображай. А я тебе скажу так: приблизились сроки. Сбывается речённое. Дьявольская сила обступила, вот-вот победит, и настанет тьма. И начнётся всё это у нас в России. Да чего там говорить, началось уже!»

«Почему же в России?»

«Падёт Вавилон, великая блудница, станет жилищем бесов и пристанищем всякой нечисти, это о ком сказано? Это о нас сказано! – загремел он. – Ты что же, разве не видишь? А? Что кругом творится! А всё почему? Да потому, что они там, начальство ё...ное, Гос-споди прости! – он взмахнул двоеперстием, – в самих себе дьявола не одолели. Вот где корень! Кабы Усатому вовремя яйца отрезали, он бы, может, и добра много сделал... Да и все они, кто там у них сейчас... во-от с такими елдами! – Савелий изобразил двумя руками, какими должны быть детородные органы у наших руководителей. – Вот она где, сердцевина зловонная! Упадёт небесный огонь и спалит Москву и Кремль ихний, богомерзкий!..»

«Ты полегче, папаша, – я усмехнулся, – если кто услышит...»

«Кто нас тут услышит, ты, что ль, побежишь доносить?»

Печка погасла, что-то потухло и в старце, гнев его улёгся, он погрузился в думу.

«Выходит, по-твоему...» – начал я было, старец прервал меня.

«Все, все погибаем, – проговорил он, – весь народ катится в бездну. Помяни моё слово: ничего от нашей России-матушки не останется. Да уж и мало что осталось... Надо спасаться... Вся надежда на праведных. А насчёт того-этого, то я тебе так скажу. От меня ничего не скроется. И что баба к тебе ходила, знаю. И правильно. Пущай ходит. Так уж у нас повелось, что всё на бабах держится. Женщина может погубить, может так тебя разжечь, что света белого не увидишь, только о ней и будешь думать, пропади она пропадом, и с грудями её, и с жопой толстой, белой, и с гнездом грешным, пещью огненной, – и сгоришь на ней весь, и останется от тебя огарочек салный, – сгинь, сгинь, дьявольская сила! А может и спасти. И вознесёшься с нею в сферы небесные, хрустальные. Готовься, голубь! Придёт твой час. Сказано: не будет пастуха, и разбежится стадо. Потому и нужен овцам пастырь. Поживёшь у нас, пообвыкнешь. А там и очистишься... Пошёл, пошёл! – забормотал он вдруг. – Поговорили, и ступай... Устал я. Помоги лечь. И покрой... Покрой меня, голубь... Кхе, кхе!»

Я стоял над ним с тулупом.

Феня

Странные мысли меня одолевали по дороге, да и все эти дни; я думал... о чём же я думал? Я чувствовал их неслаженность, нелогичность, но мысли не мешали друг другу, совершенно так же, как разительные противоречия в словах старца Савелия не только друг друга не опровергали, но каким-то образом подкреплялись взаимно – Чем же? Верой, которая не нуждалась ни в доказательствах, ни в последовательном изложении; я думал о том, что эта корявая вера, в сущности, и есть подлинная вера народа, которому навязана была чуждая и непонятная, привезённая из дальних стран религия, и который по видимости усвоил её в угоду начальству, на самом же деле глухо, тайно сопротивлялся ей. И вот теперь я увидел, до какой степени чуждой осталась эта религия русскому человеку. Эта древняя, внецерковная и веками преследуемая вера несла в себе то, что так близко его душе: жестокость и сострадание, презрение к человеку и жалость к нему, и юродство, и злую насмешку, и глубокое, растворившееся в крови сознание безрадостного существования на земле. Эта вера есть одновременно и неверие.

Попробуйте-ка объяснить этому человеку, Христос пострадал за всех и за него в том числе, – он только презрительно усмехнётся; а если всё же вы заставите его разговориться, он спросит: как же так? коли Христос – это Бог, а Богу всё известно заранее, стало быть он знает, что распятие на кресте для него ничего не значит, потому что муки его мнимые; или попытайтесь объяснить, что всё, что творится вокруг, вся эта бездна незаслуженных страданий, вся страшная жизнь, которая его окружает, на которую он и сам неизвестно за что осуждён, – что всё это устроено и совершается по воле Божьей и благому Божьему разумению. Он усмехнётся ещё злей, ещё горше, да пожалуй, ещё и матерком пустит: на кой, дескать, хер мне такой бог? Уж лучше я поклонюсь дьяволу: он, по крайней мере, честнее.

Как и в тот, первый раз, явился я слишком рано. Манефа готовила трапезу. Феня отсутствовала. Сёстры входили одна за другой, крестились на лик бездетной Богородицы, молча рассказывались. Старца Савелия не было, оказалось, что он заболел. Меня усадили на его место. Я заметил, что ко мне уже не относятся как к постороннему. Иные даже кланялись. Феня так и не появилась, но когда, вернувшись домой, я прилёг отдохнуть, всё ещё под действием беловатого напитка (подозреваю, что это был самогон, настоящий на травах), кто-то прошёл под

окнами. Я вскочил, почему-то уверенный, что это Феня, выбежал на крыльцо, — но её уже след простыл.

Если это была она. Но за этим последовало нечто; может быть, она бродила вокруг. Я лежал без сна, была глубокая ночь, кто-то вступил на крыльцо, медлил. Я сказал себе, что я разумный человек. Ещё не вполне прошло действие наркотического питья, но я уже понимал, что мне нужно любой ценой закончить свои каникулы в деревне. Я чувствовал, что погружаюсь в какую-то трясицу. Выбраться было непросто, но я надеялся, что Манефа поможет мне найти подводу. Мне даже подумалось, что лошадь уже стоит перед моим домом, я ещё даже не собрал вещи. В эту минуту дверь со слабым скрипом, как бы сама собой, приоткрылась. В сенях стояла она. Мне стало стыдно, что посторонние мысли отвлекли меня. В длинной белой рубашке, босая, с распущенными волосами, с тёмными кругами глаз, она перешагнула через порог. Феня! — вскричал я. Она приложила палец к губам. Феня, не бойся, продолжал я, никто нас не услышит. Иди ко мне, я с тобой. Это бывает, это даже довольно частое явление, когда ходят во сне. Она молчала. Это меня не удивило, ведь она и наяву была молчаливой.

Сейчас я тебя уложу, сказал я, ты уснёшь, а утром пойдёшь домой. Она покачала головой. — Ты желаешь мне что-то сказать? — Люди увидят, промолвила она так тихо, что я скорее догадался, чем услышал. Я хотел возразить, что, дескать, не беспокойся, если что, я объясню; вообще мне нужно было многое ей сказать. Но тут оказалось, что в комнате никого нет.

Я встал с головной болью, с предчувствием, что сегодня её увижу и всё объяснится. Между тем погода испортилась, дождь то усиливался, то моросил, ветер гнал низкие серые облака. После обеда показались голубые прогалины, проглянуло робкое солнышко. Я шагал по лесу среди птичьего гомона, пробирался через колючий кустарник, каждый лист, каждая травинка переливалась синими, алыми, серебряными огнями, брызги сыпались на меня с ветвей, весь мокрый, пряча за пазухой приношение, я блуждал по неведомым тропинкам, проклинал свою забывчивость, почти уже потерял надежду.

Я вздохнул. Я как будто пробудился. Хижина виднелась в чаще на краю оврага.

Но больного там не оказалось. За столом сидела Феня и чистила мелкую картошку.

Уж не отвезли ли старца в медпункт, спросил я. Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находился, если не ошибаюсь, вёрст за сорок, в селе Ушакове, ехать туда надо было в обход, к местам, где можно перебраться вброд.

Она возразила: «Да он и не больной вовсе».

«А мне сказали...»

«Дьяволы слуги рыщут».

«Но они уже были. По-моему, — сказал я, — им даже могилу показывали».

«Стало быть, умер, коли есть могила. Ничего, — она улыбнулась, — как уйдут, он и воскреснет».

Я не стал расспрашивать, где было новое тайное убежище Савелия, развернул мокрую бумагу, Феня выложила гостинцы на тарелку; я сел напротив, на табуретку старца.

«Феня, — проговорил я. — Граня...»

«Дождь будет», — сказала она.

«Опять?» Мы помолчали. Я заговорил: «Ты мне...», она прервала меня:

«Не надо».

«Что не надо?»

«Не надо говорить».

«Но ты послушай. Ты мне сегодня ночью приснилась. Будто отворилась дверь, и ты... в белой рубашке...»

Она ничего не ответила, поджав губы, смотрела перед собой.

«Или ты в самом деле приходила?»

«Скажете тоже...»

«Вошла в избу, а я говорю: не бойся, это бывает, что люди ходят во сне. Ты тоже ходишь во сне?»

Ответа не было, она взялась было снова за картошку, но тотчас отложила нож.

«Феня, – сказал я, – у тебя ведь никакой родни не осталось, верно?»

Её родители (кое-что я уже знал) были арестованы во время большой облавы, с тех пор о них ничего не слыхали. Ей было тогда семь лет.

«Феня. Что я хочу тебе сказать. Поедем со мной».

Всё то же непроницаемое молчание, лицо её как будто окаменело.

«Поедем!»

Едва заметно она повела бровью.

«Куда?»

Я объяснил, что в городе у меня квартира, я живу один. Я прошу её стать моей женой. Ей ведь уже исполнилось восемнадцать?

«Двадцать один», – сказала она.

Я говорил ей о том, что сама судьба привела меня сюда, судьба хотела, чтобы мы встретились. И что я всё обдумал. Мы не будем долго собираться, возьмём самое необходимое. Мы даже можем никому вообще ничего не говорить. Дойдём пешком до пристани, а там...

Тут она переменяла позу, по-крестьянски сложила руки под грудь, вздохнула.

«Тебя Савелий не отпустит».

«А мы ему не будем докладывать».

«Он всё равно узнает».

«Откуда?»

«Он всё знает».

Всё так же упрям, неколебим, сосредоточен был её взгляд в пространство.

«Феня, – сказал я мягко. – Почему ты так думаешь? Почему ты решила, что он меня не отпустит? Чтó мне Савелий, что я ему?»

Она быстро взглянула на меня.

«Ты его не знаешь».

«Мы поженимся, Феня. Никакой старец нам не указ. Да и что он может сделать, он же совсем немощный».

«Немощный, да...»

Мы оба умолкли. Наконец, я спросил:

«Ты согласна? Я не могу уехать один. Я не могу без тебя жить!»

Она повторила:

«Ты его не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь».

«Да при чём тут старец!»

«При том. Не может стадо остаться без пастуха. И без быка не может. Сёстры к нему ходят, он никого не обижает. Каждую от дьявольской силы освобождает».

«Феня... – я был совершенно сбит с толку, – ты хочешь сказать... Но ведь он скопец!»

«Ну и что».

«Этого не может быть. Он кастрирован. Мне Манефа сказала».

«Сказала, да не всё. Это малая печать».

Я спросил, что это значит.

«А то значит, что вырезаны удесные близнята. А ключ бездны остался».

«Да, но без... разве он может?»

«Ещё как может. Вот когда и уд отрубят, тогда он очистится совсем».

«Что же, – спросил я, – он к этому готовится?»

«Да, – сказала она твёрдо. – Пока не найдёт себе замену».

Я не решался задать главный вопрос, она угадала мою мысль.

«Ты, может, думаешь, что я невинная девушка. Я не девушка».
«Значит, – прошептал я, – и ты с ним тоже?»

Излучение чёрных планет

«Как это ты не поймёшь, – сказала Аграфена, – он наш грех бабий на себя берёт. Нужен бык стаду, нужен и пастух. Я ничего не знала, ничего не понимала. Позвал меня к себе в лес. Говорит, девушка. В тебе дьявол проснулся. Я из тебя дьявола изгоню, приму на себя грех. А я всё не пойму, чего он от меня хочет. Вот он где, дьявол, – и положил мне руку на это место. Что, говорит, щекотно? Я напугалась. Глаза сверкают, весь словно помолодел... Ну, я и легла с ним».

«Сколько же тебе лет было?»

«Пятнадцатый год пошёл. Только это было всего один раз».

«Феня, – сказал я. – Мы сегодня ночью уйдём. Дождёмся темноты, ты потихоньку соберёшь самое необходимое. Я тебя буду ждать. Как-нибудь доберёмся. А там сразу поженимся. Как приедем в город, так и поженимся. Ты всё забудешь».

Она слушала, задумчиво кивала головой.

Наконец, она сказала.

«Я его не брошу. Я дочь его».

«Дочь?»

«Духовная... А вот тебе надо уехать».

«Без тебя, одному?»

«Да. Бежать тебе надо, вот что».

«Но почему?»

«Коли Савелий что решил, то так и будет».

Станным образом я всё ещё терялся в догадках.

Она продолжала:

«Бестолковый ты. Чего тут не понимать... Ты избран. Старик умрёт, ты будешь вместо него. Ему указание было».

«Какое ещё указание...»

«Почём я знаю. Свыше указание. Голос или что. Вот он тебя и готовит. Ты его ещё не знаешь, он всё может. Всё равно как дьявол, а дьявол-то посильнее Бога будет. Сёстры все у него под сапогом. Они тебя примут... У него есть знакомый врач. Который его в лагере... Врач приедет, наложит малую печать, ты и моргнуть не успеешь».

Я расхохотался. Смех и... и ужас охватили меня.

Она пробормотала:

«Может, и не надо было рассказывать... А может, и к лучшему. Говорю тебе, если он что задумал, так и будет. Здесь останешься. Совсем останешься, с нами со всеми... Со мной... Только уж по-другому».

«По-другому – это значит без... как ты их назвала? Без близнят?»

Дождь лил за окошком – мы даже заметили. В избушке стало холодно. Я сказал: не будем терять времени. А то ещё он вернётся.

«Не вернётся. Он в землянке прячется».

Где же это, спросил я.

«А... далеко. Ты иди. Иди, милый. Нет, постой...».

«Феня, нам надо поторопиться. Ночью уйдём».

«Постой. Я тебе скажу кое-что... Ты говоришь, поженимся. Может, ты и вправду так меня любишь...»

«Феня!»

«Может, и жениться хочешь, – продолжала она, не слушая. – Только ведь сказано тебе: я затворена».

«Ты начнёшь новую жизнь...»

«Погоди... Я тебе покажу. Дай-ка мне...»

Неожиданно она улеглась, прикрыв моим пиджаком живот и ноги. Что-то делала там, вероятно, снимала то, что было на ней. Я растерялся.

Совершенно некстати я подумал, что она сейчас, немедленно хочет скрепить наши отношения.

«Феня, – забормотал я, – мы лучше сейчас не будем... мы лучше потом... Вот приедем на место, тогда...»

«Нет, – и она закусила губу, зло впилась в меня. – Сперва погляди».

Я медлил.

«Гляди, гляди!» – вскричала она.

Я взглянул. Пиджак валялся на полу. Она лежала, широко расставив нагие колени. Я смотрел ошеломлённо туда, где должна была находиться женская щель, и видел гладкое место, пересечённое неровным бледным рубцом.

Я судорожно проглотил воздух, что-то пролепетал, ненужный вопрос замер на моих губах.

«Я затворена», – был ответ.

Осталось только крохотное отверстие в верхнем углу для мочеиспускания и месячных.

И, глядя на это несчастье, я заплакал. Плачу и сейчас, вспоминая Феню, смоляной дух и шелест тайги, кусты малины, дом Манефы, молоко Богородицы, деревню Большие Олени.